

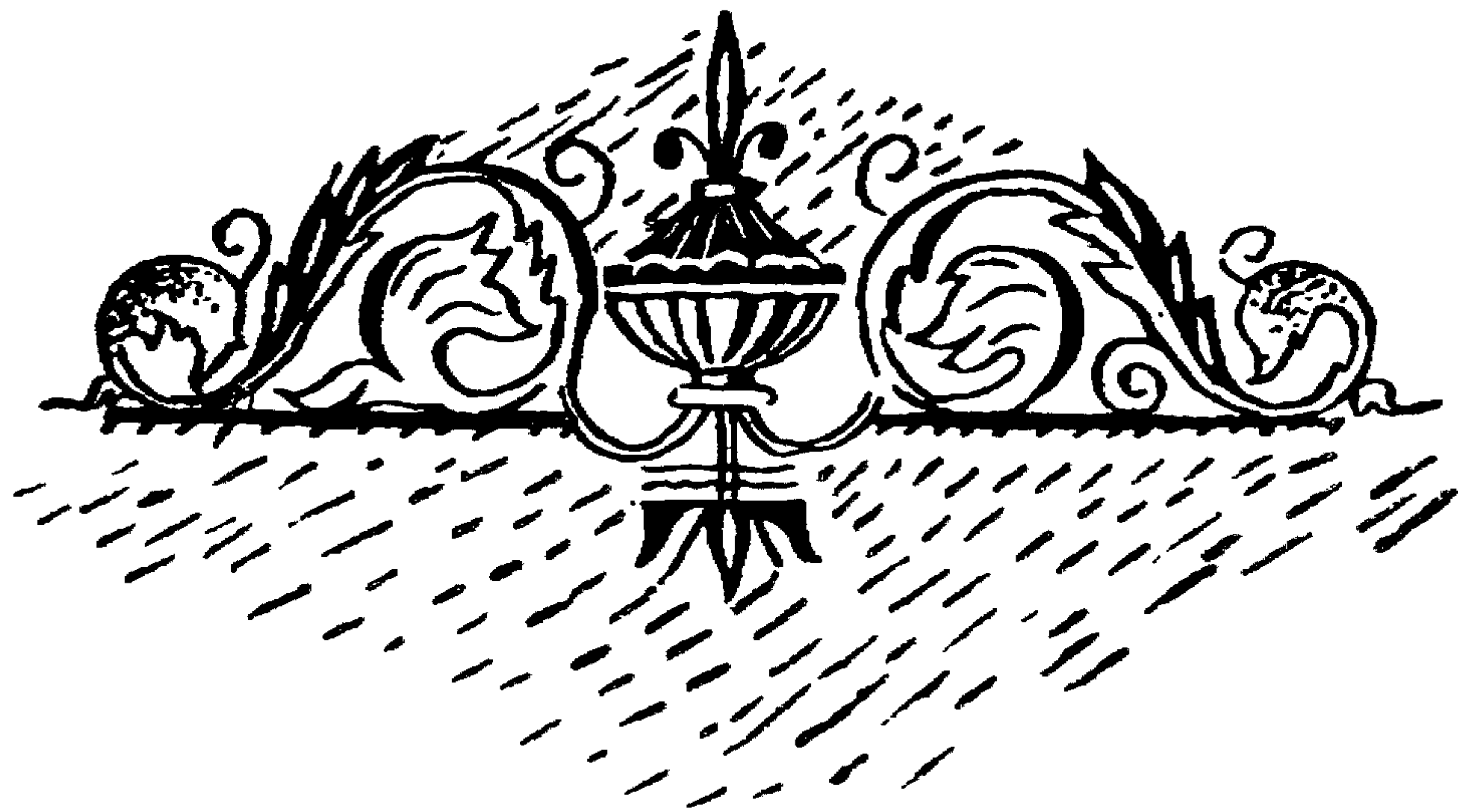






ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ

СОКРОВИЩА МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ



ЭРАЗМ РОТТЕРДАМСКИЙ
ПОХВАЛЬНОЕ
СЛОВО
ГЛУПОСТИ



ACADEMIA
МОСКВА-ЛЕНИНГРАД
1931



**ЭРАЗМ
РОТТЕРДАМСКИЙ**

**ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО
ГЛУПОСТИ**

ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИИ
П. К. ГУБЕРА

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
И. СМИЛГИ



ACADEMIA
МОСКВА-ЛЕНИНГРАД
1931

ΜΟΡΙΑΣ ΕΓΚΟΜΙΟΝ
STULTITIAE LAVS

DES. ERASMI ROT.
DECLAMATIO
MDIX

**ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЕ С РИСУНКАМИ
ГАНСА ГОЛЬДБЕЙНА МЛАДШЕГО.
ТИТУЛ, СУПЕРОБЛОЖКА И РИС. ПЕРЕ-
ПЛЕТА РАБОТЫ А. С. ХИЖИНСКОГО.**

**4-я типография ОГПЗ'а
Ленинград. Ул Правды, 1б.
Ленинградский
Областлит № 68984
Тираж 5000 экз.
Зак. № 11692**

*

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

«Похвальное слово Глупости» Эразма Роттердамского является одним из классических шедевров Возрождения. Произведение это, как и все крупные произведения этого рода, в первую очередь принадлежит эпохе, потом автору. Поэтому и мы в своем очерке, говоря об эпохе, авторе и произведении, остановимся прежде всего на эпохе, давшей человечеству такое богатство памятников в области литературы, знания и искусства.

Эпоха Возрождения с полным основанием может считаться преддверием восемнадцатого века. Классовые корни и дух обеих эпох одинаковы. Разница состоит только в том, что буржуазия эпохи Возрождения была моложе буржуазии времен революции примерно лет на триста. Но когда выросшей и окрепшей буржуазии нужно было со всей силой своего идеологического превосходства громить старый режим, чтобы «стать всем», она имела в своем арсенале такое несравненное оружие, как культуру Возрождения.

На этом, однако, сходство кончается. Литературные памятники Возрождения окрашены в такой специфический цвет, так колоритны, но вместе с тем и историчны, что понятными они становятся только на фоне своей эпохи с ее сложным общественно-идеологическим переплетом.

Германский гуманизм, виднейшим представителем которого был Эразм Роттердамский, является прямым продолжением итальянского Возрождения. Семя, бро-

шенное в Италии и давшее там такие богатые плоды, обеспечило обильную жатву и в других странах. В первую очередь это относится к Германии, которая с полным правом может считаться второй страной по размаху гуманистического движения. Эразм Роттердамский в полной мере отражает как то общее, что характерно для гуманистов всех стран, так и то специфическое, что является присущим германской ветви великого движения.

Против католической церкви с ее мракобесием, схоластикой и кострами, против этой наиболее универсальной представительницы средневекового феодализма в конце XV века в Германии образовалась мощная коалиция. В эту коалицию входили города как своим правым крылом — купцами и цеховыми мастерами, так и левым — подмастерьями и пролетариатом. В этой же коалиции оказалось крестьянство, беспощадно эксплуатируемое церковью и феодалами. К коалиции же примкнула часть обнищавшего рыцарства, вытесняемого из жизни армиями ландскнехтов. С гуманистами заигрывали даже некоторые князья.

Между противниками вскоре началась гигантская борьба, в основе которой лежали совершенно отчетливые классовые интересы. Города боролись против феодалов и церкви, закладывая основы абсолютных монархий. Крестьяне боролись против ига помещиков и церкви. Рыцарство мечтало о повороте истории вспять и надеялось поправить свои дела за счет церкви и князей. Часть князей была не прочь отбить у церкви некоторое количество объектов ее эксплуатации в свою пользу.

Отсюда мы видим, какие колоссальные размеры должна была принять борьба. Коалиция была сильна своей яркой ненавистью к врагу. Атаку против като-

лицизма и схоластики начали гуманисты. Средневековью наносились один за другим сокрушительные удары. Живопись, скульптура, наука, политические и литературные памфлеты и произведения этой эпохи свидетельствуют о блистательных победах, которые одерживали деятели Возрождения над своими противниками. С другой стороны, эти памятники говорят о мощности тех социальных корней, которыми питалось Возрождение. Оно несло на своих плечах историю вперед и было насквозь революционно и материалистично — вот в чем неувядаемая прелесть эпохи.

Слабой стороной коалиции являлась ее разношерстность. Противоречие интересов внутри самой великой коалиции губительно сказывалось на всех решающих этапах борьбы. В результате борьбы в выигрыше оказались, в сущности, только князья. О «победе» городов можно говорить весьма относительно.

Противоречия внутри лагеря Возрождения яснее всего видны на фоне тех группировок, которые сложились в Германии, где эпоха наиболее ярко сказалась в области политической и религиозной борьбы. Мартин Лютер и Меланхтон связали реформацию с интересами господствующих классов. Мюндер и Иоанн Лейденский — левое крыло реформации — были разгромлены при прямой поддержке Лютера. Пылкий и мужественный рыцарь Ульрих фон Гуттен, самый боевой представитель гуманизма, недовольный политикой Лютера, принимает участие в походе Зикингена, печальная судьба которого всем известна. Наиболее драматическими страницами эпохи являются события крестьянской войны. Против крестьян, этой наиболее обездоленной фаланги коалиции, оказавшей ей бесчисленные услуги, объединяются князья, католики и реформаторы лютеровского толка. Крестьяне терпят поражение

и усмиряются с неслыханной жестокостью. В неравной борьбе нашел смерть храбрый и талантливый вождь крестьянского войска Флориан Гейер. В результате, как мы уже говорили, выигрывают те слои, которые во время борьбы с Римом и его вассалами стояли отнюдь не в первых рядах. Нужны были еще сотни лет, чтобы завершить начатое в эпоху Возрождения дело.

Гуманизм является первым актом великой борьбы. Гуманисты боролись идеологическим оружием. Они были представителями научного знания своего времени. Старшее поколение германских гуманистов имело своим наиболее ярким представителем Рейхлина. Младшее поколение германского гуманизма в массе своей связало себя с политической и религиозной борьбой и социальными движениями Реформации.

Документы и памятники эпохи Возрождения насквозь пропитаны материалистическим духом. В Италии Рафаэль рисовал своих Мадонн с тогдашних красавиц и своих возлюбленных. Излюбленной темой художников и писателей Ренессанса является человек, живущий на земле, с его радостями и горестями. В живописи и скульптуре итальянского Возрождения надо всегда различать сюжет и трактовку. Сюжет есть дань времени, нравам и вкусам меценатов и заказчиков. Библейская же форма доверху наполнена античным, языческим, жизнерадостным содержанием. Гуманисты других стран полностью усвоили «земные» черты итальянского Возрождения. Можно без всякой натяжки утверждать, что «Декамерон», «Гаргантюа» и «Похвальное слово Глупости», несмотря на различную национальность их авторов, сделаны из одного теста, вскормлены одной и той же эпохой.

Что является общим для всех названных произведений? Во-первых, ненависть к монахам, этим кон-

кретным представителям римской церкви. Против них направлено все — от насмешки и издевательства до сочной и несдержанной ругани. Раблэ целую главу посвящает самому папе и кардиналам. Но он издевается и над реформаторами. Эразм также не скупится на резкие слова, говоря о представителях церкви. О Боккачио, одном из первых гуманистов, и говорить не приходится.

Второе, что бросается в глаза при чтении произведений этой эпохи, — это веселая жизнерадостность их героев и суждений. Вместо молитвы и поста — бутылка доброго вина или кружка пива; вместо аскетизма и воздержания — кусок жареного мяса и любовные утехи; вместо библейских текстов и изречений схоластов — ядреная шутка, подчас не очень цензурного свойства, — вот излюбленный стиль литературных произведений эпохи. Но вместе с тем от этих произведений несет зноем борьбы. Произведения этой эпохи, несмотря на их подчас безобидную внешность, становились знаменами борьбы. Аудитория из прозрачных намеков делала прямолинейные выводы.

Раблэ одновременно с критикой существующего набрасывает контуры своих представлений об идеальном устройстве общества. Законченную систему желательного общественного устройства рисует Томас Мор в своей «Утопии». Наш автор преобразовательными идеями занимается в меньшей мере, но и он пишет на политические темы, высказываясь против рабства и против неограниченного произвола королей. Что он был в полном курсе идей Мора — это бесспорно. Их связывала дружба, и свое «Похвальное слово» Эразм посвятил Мору.

Таким образом, перед нами целое мировоззрение, включающее в себя критику прошлого, борющееся за

изменение настоящего и заглядывающее, правда робко, в будущее. Нашей задачей является установить место Эразма Роттердамского среди гуманистов и его «Похвального слова Глупости» среди произведений эпохи.

Эразм Роттердамский родился 28 октября 1466 г. в городе Роттердаме. Он был «незаконным» сыном своих родителей, происходивших по мужской линии из культурной бюргерской семьи. Первоначальное образование Эразм получил в местной школе, где преподавание велось по правилам схоластики. В дальнейшем Эразм изучал древние языки в Девентере. Когда ему минуло 13 лет, умерли его родители. Перед незаконнорожденным мальчиком открывались весьма нерадостные перспективы. Он не мог рассчитывать на сколько-нибудь успешную жизненную карьеру. Проучившись в Гердгенбуше, в школе местного братства, еще три года, Эразм должен был думать о будущем. Одаренного блестящими способностями юношу преподаватели славивали в монастырь, где по их совету Эразм мог бы продолжать образование. Так он и сделал.

Жизнь молодого Эразма в Штейнском монастыре имела двойные последствия. Во-первых, талантливый юноша имел достаточно свободного времени, чтобы утолить свою жажду знаний. Во-вторых, перед ним раскрылась неприглядная закулисная жизнь монахов. Нет никакого сомнения, что теми ядовитыми стрелами, которые впоследствии Эразм обращал против богословов-схоластов и монахов, мы обязаны в значительной мере годам, проведенным юным Эразмом в монастыре.

В монастыре Эразм провел около двух с половиной лет. Вырвался он оттуда благодаря епископу Камбрэ Генриху, который пригласил блестящего латиниста Эразма в качестве своего секретаря для поездки к папе в Италию. Поездка, однако, не состоялась, и через не-

которое время мы видим Эразма в Париже, продолжающим образование в коллегии Монтэгю. Над нравами этого учреждения, где Эразм провел год, он впоследствии издевается в своем «Рыбоядении».

В Париже он заболевает лихорадкой. С этого времени начинается период его странствий. Страсть к путешествиям не покидала его всю жизнь. Эразма преследует бедность. Меценаты весьма скупо авансируют славу и «бессмертие», которые им обещает за помощь Эразм. В это время целиком сложилось гуманистическое мировоззрение Эразма. Первое литературное произведение Эразма «Adagia», в котором были собраны анекдоты и изречения древних, выявило его как определенно сложившегося гуманиста. Это произведение сразу сделало Эразма известным в гуманистических кругах. В дальнейшем мы видим Эразма путешествующим в Англию, где его встречают с почетом как известного гуманиста. В Англии он заводит знакомство с Томасом Мором; это знакомство перерастает в дружбу. Впоследствии Эразм путешествует по Италии, откуда снова возвращается в Англию. Несколько лет он преподает в Кембриджском университете греческий язык и богословие по подлинным текстам Писания. Однако Эразма снова тянет в путешествие. Во время путешествия из Италии в Англию в 1508 году Эразм задумал свое знаменитое, обессмертившее имя автора, «Похвальное слово Глупости», которое написал в доме Томаса Мора, посвятив его ему же.

Помимо этого произведения, к которому сам Эразм относился как к литературной безделке, им написаны «Colloquia» («Разговоры»), произведение, имевшее огромный успех. Политические взгляды Эразма изложены в «Institutio principis christiani». Своим главным трудом Эразм считал исправленный греческий текст Нового завета с примечаниями к нему. Кроме того Эразм

оставил большое количество писем и других работ, посвященных по преимуществу классической древности и науке.

История резко разошлась с автором в оценке его творчества. То, что Эразм считал шалостью пера, вошло в сокровищницу мировой литературы; то же, что он считал наиболее важным среди своих произведений, человечеством давным давно забыто. Хуже того, относясь отрицательно как к католической церкви, так и к реформации, Эразм Роттердамский, против своей воли, как автор богословских произведений оказался одним из основоположников протестантской теологии.

Из кратких биографических сведений об Эразме видно, что он является типичным представителем эпохи Возрождения. Происходит он не из дворян и не из духовенства. В своем роде он выходец из народа, вернее, из так называемого среднего сословия. Условия появления его на свет заставили мальчика сразу почувствовать всю горечь и тяжесть несправедливого положения. В дальнейшем благодаря своим способностям он занимает одно из самых почетных мест в плеяде деятелей Возрождения. Слава его гремит по всей Европе, с ним считаются государи и сам римский папа. На склоне лет, благодаря покровительству Карла V, Эразм устраивает себе спокойную и уютную жизнь.

Эразм по характеру своего творчества примыкает к младшему поколению гуманистов, с той, однако, разницей, что он остался в стороне от религиозных и социальных движений эпохи Реформации. В смысле же знаний и классической образованности он занимает первое место среди германских гуманистов.

Политический индифферентизм Эразма привел его к разрыву с прежними друзьями. Дело доходит до того, что он отказывается в убежище Ульриху фон Гуттену,

скрывавшемуся от преследований своих врагов после победы князей над Зиккингеном. Этот факт вызывает со стороны Гуттена полную негодования оценку, с обвинением Эразма в трусости, расчетливости и других грехах.

Эта оценка личных качеств Эразма с теми или иными вариациями находит свое отражение в ряде последующих работ о нашем авторе.

Не ставя себе целью ни в малой мере идеализировать портрет роттердамского сатирика, в целях исторической истины считаем необходимым установить следующее. Отношение Эразма к Реформации стоит в прямой связи с его гуманистическим мировоззрением. Не надо забывать, что к Реформации насмешливо относился и другой великий гуманист — Раблэ. По своему образованию и уму Эразм стоял головой выше своих германских современников. По своим убеждениям он был гуманистом-космополитом, по характеру своего творчества — жизнерадостным скептиком. Бойцом вроде Гуттена он не был. Ставить, однако, это обстоятельство ему в вину могут только или ортодоксы лютеранства, или люди, не учитывающие того, что Эразм ведь был «человек сам по себе», как о нем выражается один из авторов «Писем темных людей». По нашему мнению, при отсутствии всякого давления на Эразма и при полной безопасности он скорее эволюционировал бы к рационализму, чем к лютеранству. Говорят, что «Эразм снес яйцо, а Лютер высидел курицу». Это, конечно, верно. Но никто не может поручиться, что Вольтер был бы якобинцем, хотя для революции он сделал исключительно много. Так и с Эразмом. Для нас вполне достаточно того, что в его лице мы имеем писателя, произведения которого гремели в его время и не потеряли своей прелесть и теперь. При оценке его твор-

чества можно исходить только из объективных критериев. Всякая же попытка объяснить его творчество субъективными свойствами автора была бы величайшим издевательством над памятью великого гуманиста и сатирика.

Умер Эразм Роттердамский 12 июня 1536 г. в Базеле. «Похвальное слово Глупости» имело совершенно исключительный успех. Напечатанное в первый раз в Париже в 1509 г., «Похвальное слово» в течение нескольких месяцев выдержало семь изданий. При жизни Эразма его переиздавали свыше сорока раз. К настоящему времени «Похвальное слово» переведено на все главные языки и прочно заняло свое место в сокровищнице классических образцов мировой литературы. На русском языке оно выходит пятым изданием.

В своем письме-посвящении Томасу Мору сам Эразм пишет о своей работе таким образом:

«Что же касается вздорного упрека в излишней резкости, то я отвечу, что всегда дозволено было безнаказанно насмехаться над повседневной человеческой жизнью людей, лишь бы эта вольность не переходила в неистовство. Весьма дивлюсь я нежности современных ушей, которые, кажется, ничего не выносят, кроме торжественных титулов. Я не хотел по примеру Ювенала ворошить сточную яму тайных пороков и охотнее выставлял напоказ смешное, нежели гнусное».

Очень трудно одним каким-нибудь словом расценить такую вещь, как «Похвальное слово» Эразма. Автор наступает по чрезвычайно широкому фронту. Недаром он избрал своей героиней Глупость, которая гордится своей универсальностью для всех времен и народов. Избрав формой своей работы автопанегирик, Эразм высмеивает современность, нанося удары по излюбленным мишеням гуманистов. Нет необходимости загружать

нашу заметку цитатами. Мы ставим своей задачей не критический разбор «Похвального» слова а всего лишь помощь читателю. Но и в этом случае сам автор нам совершенно необходим. Мы приведем всего лишь несколько выдержек из «Похвального слова», которые, по нашему мнению, являются лучшим введением к сатире.

Начнем с богословов и священников—этих смертельных врагов гуманистов. Вот как «забавляет» своих читателей Эразм:

«Что до богословов, то, быть может, лучше было бы обойти их здесь молчанием, не трогать *этого смрадного болота*, не прикасаться к этому ядовитому растению. Люди этой породы весьма щекотливы и раздражительны. Того и гляди набросятся они на меня сотней своих конклюдзий и потребуют отречения от моих слов, а ежели я откажусь, вмиг объявят меня еретичкой. Они ведь привыкли страшать этими громами всякого, кого не влюбят.

«Что касается рядовых священников, то им, конечно, не подобает уступать в святости жизни своему церковному начальству. Поэтому и они сражаются воинским обычаем за право десятины, обороняя ее мечами, копьями, каменьями и прочим оружием. Люди весьма глазастые, они вычитывают в старинных грамотах все, чем можно навести страху на простой народ и заставить его вносить более, чем десятую часть урожая».

Не лучше обстоит дело и с придворными:

«Спят они до полудня. Наемный попик стоит наготове возле постели, и, лишь только барин проснется, тотчас же наспех служит обедню. Засим следует завтрак, по окончании которого почти немедленно подают обед. Затем кости, бирюльки, пари, девки, шуты, скоморохи, забавы и потехи. В промежутках раза два закуска с выпивкой. Затем наступает время ужина, за

которым, клянусь Юпитером, осушается не одна бутылка. Таким образом без малейшей скуки проходят часы, дни, месяцы, годы, века. Даже мне самой иногда бывает не в мочь глядеть на этих *длиннохвостых*.

Эразм ненавидел войну и не выносил представителей этого ремесла. В бесподобной тираде Глупости о войне мы читаем такие строки:

«Война, столь всеми прославляемая, ведется дармоедами, сводниками, ворами, убийцами, невежественными мужиками, неоплатными должниками и тому подобными подонками общества, и отнюдь не просвещенными философами».

Из приведенных выдержек читатель увидит, что расценивать «Похвальное слово» Эразма как «забавный, юмористический документ» совершенно бессмысленно. Кто не слышит в строках автора отдаленных раскатов грома, тот лишен и литературного вкуса и исторического понимания произведений.

Разумеется, судить по этим выдержкам о всей сатире невозможно. Мы там встречаем блестящие образцы сатиры на более «нейтральные» темы. Но приведенных цитат достаточно, чтобы поставить «Похвальное слово» в ряд самых боевых документов Возрождения.

Наконец мы приведем еще одну цитату, характерную и для Эразма, и для ряда других гуманистов:

«Глупость создает государства, поддерживает власть, религию, управление и суд. Да и что такое вся жизнь человеческая, как не забава Глупости?»

Разве не этой же нотой кончает Раблэ путешествие Пантагрюэля к Божественной Бутылке?

Но какая гигантская разница между скепсисом Возрождения и скепсисом времен увядания буржуазии! Там скептическая нога прорывается у мыслителя, насквозь жизнерадостного и материалистического; у него — все

в будущем. Совершенно иначе выглядит современный скептицизм буржуазии. У нее, — все в прошлом. Историческая миссия класса закончена. Одряхлевшая буржуазия отказывается от культуры своей молодости. В права наследства вступает пролетариат, который поднимет человечество на высшую ступень.

И. Смилла.

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА.

1

В многотомном собрании печатных трудов Эразма «Похвальное слово Глупости» занимает небольшое по объему, зато, с точки зрения историка литературы, наиболее важное место. Дабы уяснить себе исторические условия, в окружении которых создавалась эта маленькая книжка с такой своеобразной судьбой, расскажем здесь несколько более подробно главы из биографии писателя, непосредственно предшествовавшие сочинению «Похвального слова».

Как все гуманисты, родившиеся к северу от Альпийских гор, Эразм в течение многих лет лелеял мечту побывать рано или поздно в Италии. Правда, он собирался в эту страну, влекомый не совсем теми чувствами, с какими туда едет современный турист. Роскошная природа Апеннинского полуострова и великие памятники классической старины не пленяли его воображения. Хотя он был тонким знатоком и ценителем живописи, но ради одних картин и статуй он не предпринял бы утомительного и опасного странствования. Его манили в Италию не картинные галереи, не пышные пацские дворцы и даже не античные развалины, но главным образом богатейшие итальянские библиотеки, в ту эпоху еще мало обследованные и казавшиеся неистощимой сокровищницей древних рукописей. Эразм при всей живости и непоседливости своего характера был все-таки прежде всего *филолог*, т. е. человек книжного, писаного слова. Пыль древних манускриптов ошьяняла его. В итальянских книгохранилищах он мечтал сделать открытия, относившиеся к области, всего более занимавшей его, а именно — к установлению точного текста античных писателей, которые в изображаемую эпоху впервые стали попадать на печатный станок и требо-

вали вдумчивого и зоркого редактора. Итак, охота за древними рукописями была главной целью долгожданного путешествия, которое, однако, приходилось откладывать. Главным препятствием для этой поездки служили даже не войны между Францией, папой, императором и Венецией, опустошавшие в описываемое время полуостров, но самая прозаическая и вместе с тем наиболее уважительная причина из всех возможных, а именно — отсутствие денег. Эразм вышел из Штейновского монастыря почти нищим. В течение многих лет он вел многотрудную жизнь бедного студента, борясь с нуждой и добывая средства к жизни уроками, которые он давал в богатых домах, да случайными подачками, перепадавшими ему от времени до времени. Его первые произведения, появившиеся в печати, быстро доставили ему известность, но еще не принесли ни гроша. Правда, у него уже завелись многочисленные связи в знатных кругах, и при их помощи он легко мог бы получить какую-нибудь прибыльную церковную должность. Но он ревниво оберегал свою независимость и ничем не желал заниматься, кроме науки и литературы. Поэтому заветная мечта его об итальянском путешествии долгое время оставалась неосуществленной. По его расчетам, на поездку нужно было ему иметь около двухсот французских ливров. Это в точности соответствовало той пенсии, которую писатель получал ежегодно от просвещенной благотворительницы, голландской маркизы ван-Веере. Оставалось, следовательно, выпросить эту пенсию авансом за год вперед. Эразм не раз обращался к самой маркизе и ее управителю с соответственными просьбами, но постоянно наталкивался на отказ. Лишь в 1506 г. судьба неожиданно пришла к нему на помощь.

Генуэзец Баптиста Боэрио, лейб-медик и фаворит Генриха VIII, первого английского короля из династии Тюдоров, вознамерился отправить в Италию двух своих сыновей для окончания образования в тамошних университетах. Особый гувернер-англичанин сопровождал обоих молодых людей, а Эразму доктор Боэрио предложил состоять при них в качестве репетитора по древним языкам. Таким образом, поездка могла состояться.

Путешественники прибыли в Париж в июне 1506 г. Здесь в это время печатались в типографии Бадиуса новые произведения Эразма, а именно: переводы на латинский язык диалогов Луккиана и трагедий Эврипида «Гекуба» и «Ифигения в Авлиде». То и другое должно было выйти в свет не позже осени. Исправив корректуры, Эразм со своими спутниками проследовал далее через Орлеан и Лион и в августе миновал альпийские перевалы. В дороге, по своему обыкновению, он занимался сочинительством и написал длинное, хотя довольно слабое стихотворение, которое сам он называет: «Стихотворение кавалерийское или, вернее, альпийское».

В начале осени путешественники прибыли в Турин и здесь сделали первую продолжительную остановку. Эразм воспользовался этим случаем, чтобы проделать в тамошнем университете церемонию ученого диспута и получить наконец недостававший ему титул доктора богословия. Это было довольно резкое отступление от обычаев тогдашних гуманистов, особенно итальянских, которые, вообще говоря, гнушались университетскими званиями и почестями, неразрывными с изучением ненавистной схоластики. Но Эразм хорошо понимал, что на его родном севере несколько иначе смотрят на этот предмет. И, действительно, парижский издатель поспешил снабдить уже готовую к выходу в свет книгу следующей заметкой: «Итак, прилежный читатель, здесь ты имеешь несколько диалогов Лукиана, переведенных на лучший латинский язык Эразмом Роттердамским, ученейшим мужем, который недавно украсился лаврами священного богословия».

Получив докторский диплом, Эразм отправился в Болонью, где молодые Боэрио должны были приняться за изучение юриспруденции. Они проехали насквозь всю Ломбардию и осмотрели в Павии знаменитую тамошнюю Чертозу, в то время еще недостроенную. Но путешествие совершалось при не особенно благоприятных обстоятельствах. Война свирепствовала на всем пространстве к югу от Альп. Армия французского короля Людовика XII занимала страну, а папа Юлий II старался отстоять мечом города и области, отторгнутые от церковных владений.

В Болонье господствовало семейство Бентиволло — непримиримые враги папы. Покорив Перузу, армия святого престола двинулась против них. Война внушала Эразму глубокое отвращение. Он поспешил покинуть Болонью и отправился искать убежища во Флоренции.

По всем вероятностям, он прибыл туда в конце октября. Сколь это ни удивительно, но повидимому Флоренция, один из главных очагов италийского Возрождения, не произвела особого впечатления на ученого путешественника. А между тем он попал в этот город в весьма примечательный исторический момент. Медици уже были изгнаны, движение, вызванное проповедями Савонаролы и столь враждебное наукам и искусствам, кончилось, в республике было восстановлено народное правление, и там, в одном из немногих мирных уголков истекавшей кровью Италии, работали в то время Леонардо да Винчи, Микель Анджело, Рафаэль, фра Бартоломео и Андреа дель Сарто. Но Эразм почти не упоминает в своей переписке о несравненных флорентийских мастерах. Пламенный народный трибун Савонарола представляется ему невежественным крикуном-монахом, нарушителем общественного спокойствия. Он даже порицает итальянских государей за ту расточительность, с которой они тратят деньги на сооружение памятников искусства. Конечно, в качестве гуманиста он не мог не помнить, что Флоренция была колыбелью возрождения классической древности, что здесь жили и работали Анджело Полициано и Поджио. Но он ни с кем не сводит знакомства на берегах Арно. Он даже, повидимому, не знает, что должность секретаря республики занимает такой знаток античной литературы, как Маккиавелли. Если судить по письмам, Эразм находится в очень скверном настроении духа и целые дни проводит запершись у себя в комнате, где все еще работает над переводом диалогов Лукиана.

Пребывание во Флоренции продолжалось около шести недель. В первой половине ноября Эразм смог снова вернуться в Болонью, откуда Бентиволио бежал и куда теперь с триумфом вступал папа, окруженный кардиналами. «Он был воистину достоин имени Юлия», писал Эразм насмешливо. Его святейшество вступил

в побежденный город через брешь в стене, облаченный в кирасу словно Юлий Цезарь. Главная улица Болоньи была убрана коврами, воинскими трофеями и триумфальными арками с надписями: «Юлию Второму, победителю тиранов». Дамы махали платками, стоя на эстрадах, воздвигнутых на пути этой процессии. Сто молодых людей, принадлежащих к местной аристократии, маршировали впереди будто пленники, предшествующие колеснице победоносного римского императора. Молодые девушки бросали розы к ногам верховного первосвященника, который подвигался под шелковым балдахинном в сопровождении двадцати трех кардиналов. Эразм любовался на это странное зрелище папы-полководца, затерявшись в толпе любопытных. Он испытывал скуку и негодование. Вид воинских почестей, воздаваемых старейшему христианскому епископу, был ему глубоко противен: «Я не мог не скорбеть в глубине души, — пишет он, — когда сравнивал величие апостолов, побеждавших мир при помощи небесного учения, с этими триумфами, которых должны были бы стыдиться даже христианские государи».

В своих письмах, относящихся к данному времени, он не перестает жаловаться на неудобства, связанные для него лично с затянувшейся войной: «Я приехал в Италию главным образом с целью усовершенствоваться в греческом языке, — говорит он, — но, увы, война неистовствует здесь; я постараюсь уехать возможно скорее. В день св. Мартина папа Юлий вступил в Болонью и на другой день священнодействовал в местном соборе. Здесь ждут прибытия императора и готовятся к походу на венецианцев на тот случай, если они не склонятся перед волей папы. А тем временем все ученые занятия прекратились».

Пребывание в Болонье, вопреки желанию Эразма, затянулось на целых тринадцать месяцев. Писатель то и дело жаловался на скверный климат этого города и ссорился с английским гувернером молодых Боэрио. Этих ссор он долго не мог позабыть, и двадцать пять лет спустя он все еще называл своего спутника чудовищем и боровом.

В конце 1507 г. Эразм покинул должность наставника в семействе Боэрио. Избавившись от этого бремени, он

получил возможность продолжать путь по собственному усмотрению. Он уже успел завязать переписку с Альдом Мануцием, славным венецианским типографщиком, которому переслал рукописи своих новых произведений и с которым уже договорился относительно переиздания в расширенном и дополненном виде сборника древних пословиц, опубликованного ранее в Париже. Желая лично наблюдать за этим изданием, Эразм направился в Венецию, куда и прибыл в начале 1508 года.

2

В ту эпоху, когда Эразм впервые появился в городе лагун, республика св. Марка, благодаря своему флоту и своей торговле с Востоком, еще считалась самым богатым и могущественным из итальянских государств. Впрочем, политическое ее значение уже начало несколько уменьшаться, но зато она была теперь более, чем когда-либо, центром литературной и художественной деятельности. В это время заканчивался постройкою двор Палаццо дождей. Беллини, Чима, Карпаччио, Джорджоне, старик Пальма и молодой Тициан украшали своей кистью дворцы и церкви. Умственная жизнь Венеции выгодно отличалась в том отношении, что в ней никакой роли не играли университетские интриги и козни. Университет «Напяснейшей Республики» находился в Падуе, а в самой Венеции наукой и литературой занимались люди, принадлежавшие к местному патрициату, богатые и знатные любители, вежливые и утонченные, расширившие свой умственный кругозор благодаря постоянным сношениям с Востоком и Грецией. Скромный домик недалеко от Риальто, где помещалась типография Альда Мануция, был средоточием венецианского гуманизма. Альд поддерживал переписку с виднейшими учеными Германии, Франции и Англии. Каждая новая книга, выходящая из-под его станков, была настоящим событием в литературном мире.

Впрочем, в 1508 году дела издательства находились не в особенно цветущем состоянии. Тяжело сказывалась война, грозившая лишить Венецию всех ее владений на материке. Тем не менее, Альд продолжал работать, подготавливая новые, критически проверенные издания

классиков. В такое-то время к нему в двери постучался желанный гость.

Случилось так, что никто не ожидал его. Слуга объявил посетителю, что хозяин никого не принимает в эти часы. «Я—Эразм из Роттердама», — сказал незнакомец. Слуга, не торопясь, отправился доложить своему господину о появлении иностранца. Альд тотчас же выбежал из внутренних покоев, рассыпался в извинениях, расцеловал Эразма, не позволил ему остановиться в гостинице, а устроил у своего тестя Андреа д'Азола, а затем в скором времени перевел его в свой собственный дом.

Семья Альда была весьма многочисленна: тридцать три человека садилось за стол, считая в том числе и слуг. Тесть Альда, Андреа д'Азола, руководил технической частью типографских работ; его сыновья, Франческо и Федерико, помогали ему. Все работали дружно и весело.

Новый гость этой семьи, встреченный с чрезвычайным радушием, имел только одну причину жаловаться. У себя в Голландии он привык есть жирно и сытно, а за столом у Альда царил строгая экономия, переходившая в скупость. Эразм рассказывает, что там на столе красовались кислое вино, заплесневелый хлеб, масло и яйца сомнительной свежести. «Нам подавали, — рассказывает он, — семь листиков салата, плававших в уксусе, и это на девять сотрапезников. Я им казался обжорой». Встревоженные хозяева направили к нему домашнего врача, который заклинал гостя умерить свой аппетит, уверяя, что в местном климате для уроженцев севера бывает чрезвычайно опасно кушать вволю по обычаям своей родины. Эразм угадал, откуда исходит этот совет, и посмеялся над ним. Но вскоре ему пришлось раскаяться, так как он действительно захворал от последствий своей невоздержанности.

Все эти мелкие неприятности не мешали ему с головой погрузиться в работу. Почти все его время уходило на редактирование и пополнение сборника «Adagia». Это сочинение было одним из самых крупных памятников эрудиции эпохи Возрождения и в новом издании представляло собою почти совершенно новую книгу, настолько отличалось оно по своему объему от первого

издания, выпущенного в Париже в 1500 году. Рабочие типографии Альда были очень искусны в своем ремесле и печатали книги с неслыханной для того времени быстротой. Эразм правил авторскую корректуру. Работать приходилось в помещении типографии среди стука печатных станков. «Альд удивлялся, — рассказывает Эразм, — что я могу писать, несмотря на ужасный шум, производимый рабочими. Он перечитывал корректуры после меня, и, когда я его спрашивал, почему он берет на себя эту обузу, он отвечал: — Я тоже хочу поучиться».

После восьми или десяти месяцев напряженного труда огромный фолиант вышел наконец из печати. Ничто более не связывало Эразма с Венецией. Но Альд и Андреа д'Азола постарались удержать при себе подольше ученого друга, который был столь полезен для их предприятия. Эразм, закончив сборник пословиц, продолжал некоторое время трудиться над текстом комедий Плавта и Теренция и трагедий Сенеки. Многочисленные рукописи, хранившиеся в библиотеке св. Марка, были им тщательно использованы.

Среди венецианских писателей и ученых, встреченных Эразмом в доме Альда, он свел знакомство с одним человеком, с которым несколько лет спустя ему пришлось столкнуться при совсем иных, более критических обстоятельствах. То был Джироламо Алеандро, прекрасный латинист, недурно также знавший древне-еврейский язык и собиравшийся ехать в Париж, куда его приглашали для чтения лекций в университете. Этого скромного молодого ученого ожидала блестящая карьера. В ближайшем будущем ему предстояло сделаться архиепископом города Бриндизи, папским библиотекарем и, наконец, кардиналом. При первых признаках великой церковной смуты, которая впоследствии потрясла Германню, Алеандро отправился туда в качестве папского нунция. Эразм уже не был более скромным священником, занятым только античными текстами, каким он появился в Венеции. Германия, Англия и Франция прислушались к его словам и готовились последовать его примеру в вопросе о церковной реформе. Алеандро несколько раз упрекал знаменитого гуманиста за его слишком терпимое отношение к Лю-

теру. Эразм, с своей стороны, имел основание быть недовольным папским нунцием. Жестокие слова были сказаны с обеих сторон, но все же прежним друзьям удалось избежать окончательного разрыва, и в этом, быть может, сыграли роль воспоминания о мирной, спокойной жизни под патриархальным кровом Альда.

В 1508 году еще не могло быть и речи ни о Лютере, ни о реформе. Никто в Венеции не предвидел грядущих бурь. В кружке Альда все споры ограничивались вопросами светской литературы. Эразм еще не принимался за свои труды по истолкованию священного писания. Он был всецело поглощен изучением древних классиков.

3

Из Венеции Эразм отправился в Падую, где его поджидал новый ученик. Восемнадцатилетний архиепископ Александр, побочный сын шотландского короля Иакова IV, в сопровождении целой свиты явился в Италию заканчивать высшее богословское образование. Эразм был приглашен посвятить его в таинства греческого языка и литературы. Любопытно распписание дня, которое он установил, взяв на себя руководство занятиями молодого прелата. Каждое утро архиепископ переводил отрывок из какого-нибудь греческого автора. После полудня он занимался музыкой, учился играть на флейте и на лютне и упражнялся в пении. Во время обеда и ужина походный капеллан читал ему вслух творения отцов церкви. После обеда Александр посвящал время своему любимому занятию, изучая латинских историков. Эразм сочинял для него небольшие рассуждения на философские и моральные темы. Такие рассуждения назывались тогда «декламациями». Это стоит отметить потому, что написанное несколько месяцев спустя «Похвальное слово Глупости» тоже носит подзаголовок *Declamatio*.

Пребывание в Падуе пришлось чрезвычайно по вкусу Эразму. Занятый педагогическими трудами, он не оставлял и самостоятельных научных занятий, с целью окончательно усовершенствоваться в греческом языке, и усердно посещал вместе со своим питомцем лекции знаменитого эллиниста Музуруса, уче-

ного издателя творений Платона. Вся свита архиепископа состояла из завзятых классиков. Один из учителей Александра, Рафаэль Реджио, старик шестидесяти лет, в числе первых появлялся каждое утро на скамьях университетской аудитории, мечтая научиться греческому языку, который он не успел усвоить в молодости.

К великому сожалению Эразма, приятная и мирная жизнь в Падуе скоро должна была прерваться. 10 декабря 1508 года в городке Камбрэ был подписан союзный договор между императором, папой, королями французским и испанским. Этот договор, направленный против Венеции, изменил расположение фигур на шахматной доске европейской политики. Все владения св. Марка на твердой земле, и прежде всего Падуя, оказались под ударом. Надо было искать другого, более безопасного убежища. «Проклятые войны!» — восклицает Эразм в одном из своих писем: — они мешают мне наслаждаться этой областью Италии, которая с каждым днем нравится мне все больше и больше».

Архиепископ Александр перебрался со своими спутниками из Падуи в Феррару. Здесь застал он блестящий двор прославленной красавицы Лукреции Борджиа. Молва называла эту женщину отравительницей и мужеубийцей, но это не мешало гуманистам искать у нее покровительства, и феррарский двор славился своей образованностью. Эразму очень хотелось закончить здесь зиму, но на его горе герцог Альфонсо, в то время пользовавшийся довольно опасной честью быть супругом Лукреции, собирался принять участие в начинавшейся войне. Пришлось продолжать путешествие, и длительную остановку удалось сделать только в Сиенне. Отсюда всего несколько дней пути оставалось до Рима, и Эразм, конечно, воспользовался случаем, чтобы навестить вечный город.

Пышная столица цезарей и пап более чем наполовину лежала в развалинах, но развалины эти были такого рода, что к ним не мог остаться равнодушным поклонник классической старины. Многие древние здания, впоследствии исчезнувшие, например, термы Константина, еще стояли на своих местах. Многие другие, в том числе Колизей, еще не были так изуродованы,

как в настоящее время. Но напрасно станем мы искать в письмах и сочинениях Эразма отклика на впечатления, произведенные зрелищем грандиозных руин, которые покрывали Авентинский и Эсквилинский холмы. Весь поглощенный литературными интересами, он почти ни слова не говорит об архитектурных памятниках. Его интересовали только библиотеки да общество римских гуманистов.

Из этих последних он ближе всего сошелся с Томасо Инграмини, хранителем ватиканского книгохранилища. Это был модный проповедник, говоривший не иначе, как изысканной цicerоновской латынью. Он носил прозвище Федро, данное ему потому, что в молодости он однажды с чрезвычайным успехом исполнил женскую роль царицы Федры в трагедии Сенеки «Ипполит». Эразм описывает нам одну проповедь, произнесенную этим типично римским прелатом и представлявшую собою наглядную историческую иллюстрацию к одной из глав «Похвального слова». Дело происходило на страстной неделе. «Не упустите случая, — говорили Эразму его ученые друзья: — услышите римскую речь, льющуюся из истинно римских уст». Церковь была переполнена. Сам Юлий II присутствовал собственной особой и сидел в креслах против кафедры. Проповедник начал торжественным восхвалением папы и его недавних воинских подвигов. Затем, обратившись к главному предмету своей речи, а именно — к крестной жертве Христа, он едва упомянул это имя и тотчас же стал распространяться о самоотвержении Дедиев, Курция и даже Ифигении. В течение двух часов читал он восхищенным слушателям витиеватую лекцию по римской истории.

Несмотря на краткость своего пребывания в Риме, Эразм успел возбудить всеобщие симпатии. Тщеславные итальянцы, полагавшие, что им принадлежит монополия умственного образования, искренно удивлялись, видя необыкновенную ученость, остроумие и любезность «северного варвара». Эразм получил несколько весьма лестных предложений, и от него одного зависело навсегда обосноваться в Риме. Рафаэль Риарно, племянник Юлия II, и кардинал Джованни Медичи, будущий папа Лев X, сулили ему блестящую церков-

ную карьеру, соблазняя красной кардинальской шляпой, которая должна была ему достаться рано или поздно в воздаяние ученых заслуг. Эразм колебался. Ни один город тогдашней Европы не представлял таких удобств для занятий классиками, как Рим. Римские библиотеки, еще не разграбленные солдатами императора, которые опустошили священный город в 1528 году, таили в своих стенах сокровища, необычайно заманчивые для филолога Эразм уже готов был согласиться, тем более, что архиепископ Александр собирался обратно в Шотландию. Перед разлукой наставник и ученик предприняли совместно поездку в Неаполь, где осматривали пещеру Кумской Сивиллы. Затем молодой архиепископ направился к себе на родину, где несколько лет спустя его ожидал трагический конец в сражении с англичанами под Флоуденом, а Эразм снова поехал в Рим, быть может, с намерением окончательно там поселиться. Неожиданное обстоятельство изменило его планы.

22 апреля 1509 года умер английский король Генрих VII, и на престол вступил его сын, воспитанный гуманистами. Новое царствование начиналось при необычайно благоприятных предзнаменованиях с точки зрения ученой братии. Друзья Эразма настойчиво приглашали его вернуться как можно скорее. Лорд Вильям Монтжой писал ему 27 мая: «Если бы ты видел, милый Эразм, как здесь все радуются, как счастливы все, имея такого государя. Небо смеется, земля ликует, повсюду лишь мед, млеко и нектар. Скупость обратилась в бегство, щедрость полными горстями распределяет свои дары. Наш король не ищет золота, редких камней и дорогих металлов, но стремится единственно к добродетели и славе. Чтоб дать тебе некоторое понятие об этом, сообщаю разговор, происходивший на днях: он выразил в моем присутствии желание сделаться еще более образованным. «Мы не ждем от вас этого, государь, — сказал я ему: — мы лишь надеемся, что вы будете любить ученых и покровительствовать им». — «Как же иначе? — ответил он, — ибо что я буду представлять собою без них?» Никогда монарх не изрекал столь прекрасных слов. Я хотел рассказать тебе в самом начале этого письма о достоинствах нашего боже-

ственного государя, дабы ты тотчас же отогнал прочь всякую тоску, ежели случайно она тобой владеет, и дал полный простор честолюбивым помыслам и надеждам».

К письму был приложен переводный вексель для оплаты путевых расходов. Колебания Эразма кончились. Ему казалось, что блистательное будущее ожидает его в Англии, и он решил отказаться от мирной, спокойной жизни, которая открывалась перед ним в Риме. Он понимал, что в столице пап, среди льстивых и коварных итальянцев, он никогда не будет чувствовать себя вполне дома. Папский Рим с его кознями и интригами, с его католицизмом, переходившим в откровенное язычество, несколько шокировал его, несмотря на все свои обольщения. Всего несколько лет спустя другой выходец из немецких земель, доктор Мартин Лютер, тогда еще никому неизвестный августинский монах, тоже побывал в Риме по делам своего ордена и бежал в ужасе из этого города, показавшегося ему новым Вавилоном. Моральный ригоризм Лютера был чужд Эразму, но все-таки ему трудно было примириться с римским, чрезмерно широким взглядом на вещи. Поэтому он предпочел уехать.

Через Ломбардию и Шплюгенский перевал он достиг Констанца. Оттуда по долине Рейна он проехал сухим путем в Страсбург, где сел на корабль, доставивший его в Голландию. Чтобы убить скуку во время пути, он начал сочинять «Похвальное слово Глупости», законченное им в деревенском доме Томаса Мора по прибытии в Англию в том же 1509, а может быть, в 1510 году.

4

Так возникла эта книга, которой суждена была столь широкая известность. По своему замыслу она близко примыкает к «Королю глупцов» Себастиана Бранта, изданному в Базеле в 1494 году. Но по своему оформлению, живая и остроумная, густо насыщенная классической эрудицией, сатира Эразма разительно отличается от тягучих и пресных виршей немецкого стихоплета. С большим основанием можно ее сопоставить с «Похвальным словом подагре», которое сочинил шутки ради нюрнбергский патриций-гуманист Вили-

балль Пиркгеймер. Здесь применен с успехом тот же прием насмешливой пародии. Однако сатира Эразма несравненно смелее, охват ее шире, и темой ее является вся жизнь современного писателю общества. Западная Европа первых лет XVI века показана здесь в косом разрезе. Все классы и сословия, начиная от владетельных князей и самой римской курии и кончая смиренными бюргерами немецких и голландских захолустных городков, получили свою долю в издевательствах, которыми богиня Глупость осыпает «повседневную жизнь смертных». Эразм никого не пощадил, даже ближайших своих друзей, каковы Томас Мор, Альд Мануций и Инграмини. Не постеснялся он бросить мимоходом весьма прозрачный намек по адресу грозного папы Юлия II, не дал потачки и могущественным корпорациям, каковы университетские богословы, классики-гуманисты и монахи различных орденов. При других исторических обстоятельствах столь откровенная насмешка вызвала бы бурю негодования. Но в описываемую эпоху господствующие классы еще не понимали той опасности, которой грозило им недавно изобретенное типографское искусство. Книжка была встречена с единодушным восторгом как раз в тех кругах, которые явились ближайшим объектом сатиры. Римский двор не почувствовал себя задетым. Порфироносные кардиналы смеялись от души, читая меткие обличения заезжего голландца, и сам Альд предложил автору выпустить новое издание книги. Переводы ее на живые европейские языки начали появляться немедленно, и она разошлась в десятках тысяч экземпляров—цифра неслыханная для тогдашней книжной торговли. Успехи «Похвального слова» можно сравнить только с успехом «Женитьбы Фигаро» Бомарше. Оба эти произведения появились накануне великих исторических кризисов, оба они осмеивали в легкой и забавной форме пороки и слабые стороны общества, обреченного в ближайшем будущем вынести жестокие потрясения, оба были вестниками переворота, который, однако, вовсе не входил в расчеты их авторов. По отношению к Эразму это даже еще более справедливо, нежели по отношению к Бомарше. При помощи иронии, тонкой, как осиное жало, Эразм мечтал исправить по-

роки окружающей его среды. В своем трезвом, рассудочном эгоизме кабинетного работника и литературного гурмана он нисколько не хотел потрясать самые основы того режима, с которым было тесно связано его личное благополучие.

Но книга, написанная и изданная в свет, уже перестает принадлежать своему автору, который не имеет средств умерять или регулировать ее действие. Шутливая сатира произвела впечатление разорвавшейся бомбы в спертый, грозовой атмосфере, которая установилась в германских землях в начале XVI столетия. Сложное сплетение противоречивых классовых интересов, общая обстановка жестокого хозяйственного кризиса и тягостное напряжение, всегда предшествующее открытой борьбе, объединились, чтобы создать для голоса насмешницы-Глупости такой резонанс, какого никогда не ждал и не предвидел Эразм. Если бы он заранее знал, какие практические выводы будут сделаны читателями его книги, он, вероятно, собственноручно бросил бы рукопись в огонь.

В Англии Эразма встретили с великим почетом в ученом кружке, группировавшемся вокруг архиепископа Уорхэма и оксфордского богослова Колета, вскоре избранного на должность декана собора св. Павла. Писатель не прервал своих научных занятий, но предмет их изменился. Среди северных гуманистов господствовали иные, более серьезные и более практические умственные интересы. Здесь уже поговаривали о реформе церкви «во главе и в членах», и порицали обмирщение, жертвой которого сделалась римская курия. Вместо античных языческих писателей Эразм усиленно начинает заниматься христианской древностью: издает и комментирует труды отцов церкви и подготавливает критическое издание Нового завета. Эти его произведения, хотя совершенно иными путями, должны были послужить той же цели, что и «Похвальное слово Глупости». Они давали остро отточенное оружие в руки будущих реформаторов. И этого Эразм тоже не предвидел. Тем неожиданнее явился для него следовавший вскоре затем взрыв.

Слава его росла. Не только в области филологии, но и в области богословия он становился общепризнанным

европейским авторитетом. Дни нужды миновали. Он был осыпан подарками и почестями, поддерживал переписку с коронованными особами и князьями церкви и носил титул императорского советника.

Он продолжал свои обычные разъезды из страны в страну, но его любимым пребыванием становится вольный город Базель, где в кругу богатых и просвещенных бюргеров усердно культивировалось изучение классиков и где писатель нашел нового издателя для своих трудов, в лице известного Фробена, занимавшего теперь в книжной промышленности то место, которое недавно принадлежало Альду.

Эразм имел все основания быть довольным своей судьбой, и будущее рисовалось ему в розовом свете. Ему казалось очевидным то, что новая эпоха наступает в жизни человечества. Не он один лелеял эту мечту. Ее разделяли почти все тогдашние гуманисты. Хотя они привыкли щеголять республиканскими фразами, заимствованными у древних авторов, их политическим идеалом в действительности был просвещенный и благожелательный деспотизм. И вот обстоятельства складывались так, что идеал этот как бы осуществлялся воочию во всех главнейших европейских странах. Англией правил ученый латинист и теолог Генрих VIII. Во Франции царствовал Франциск I, тароватый любитель всяческих наслаждений, в том числе и умственных. Императором Священной империи был избран юный испанский король Карл, истинный характер которого в то время был мало известен, но которому тоже приписывали симпатии к новейшему просвещению. Наконец в самом Риме старому буйному солдату Юлию II наследовал Лев X, сын Лоренцо Великолепного, отпрыск семьи Медичи, в которой меценатство было семейной традицией. Гуманисты верили, что золотой век готов снизойти на землю. Вместо этого перед ними, говоря их собственным языком, растворился ящик Пандоры.

Катастрофа разразилась внезапно и неудержимо, словно стихийный пожар или вулканическое извержение. Сварливая перебранка двух монахов по вопросу об отпущении грехов перешла в распрю, которая залила кровью Европу и задушила в дыму костров свободную

мысль и науку Возрождения. Церковная схизма, дворянское восстание, крестьянский мятеж и мистический коммунизм перекрещенцев, словно всадники Апокалипсиса на известной гравюре Дюрера, пронеслись над Германией. В Испании остервенилась инквизиция. Во Франции стали сжигать людей живьем за чтение Библии на французском языке. В Англии вопрос о королевском разводе привел к отпадению страны от Рима и к жестокой расправе с католиками. Генрих VIII, прилежный и благонравный ученик гуманистов, вдруг превратился в свирепого тирана, похожего на героя сказки о Синей Бороде, и Томас Мор, шутник и вольнодумец, взошел на плаху, как мученик за католицизм. Молодой император поднялся войной на папу, и грубые ландскнехты, наслушавшиеся проповедей Лютера и Карльштата, разгромили Рим. Эразм был в ужасе и отчаянии. Профессиональный идеолог, чуждый практической политики и не имевший понятия об экономике, он был не в состоянии осмыслить хаос, воцарившийся вокруг него. Его душевное состояние этих лет заставляет нас вспомнить о тех либеральных буржуа, которые накануне 1848 года увлекались идеями народоправства и были застигнуты врасплох социалистическим рабочим движением.

Обе борющиеся партии — католики и реформаты — громко зывали к автору критического издания Нового завета, приглашая его высказаться. К какому же лагерю принадлежит он в конце концов? За кого он стоит — за Лютера или за папу? В течение нескольких лет старый хитрец увертывался от ответа, поддерживая более или менее приятельские отношения с представителями обоих враждующих станов. Затем, раздраженный грубыми выпадами протестантов, он объявил себя против реформы. Это оттолкнуло от него многих прежних друзей, а нимало не удовлетворило католических фанатиков. На старости лет Эразм вдруг очутился в смешной и глупой позиции человека, севшего между двух стульев.

5

Не место рассказывать здесь об ядовитой полемике Эразма с виттенбергским реформатором. Вернемся поэтому к «Похвальному слову Глупости». Что предста-

вляем оно собою — исторический памятник, служащий только для познания прошлого, или литературное произведение, которое и в наши дни можно читать независимо от историко-исследовательских целей? Нет спора: очень многое устарело в этой сатире за четыре слишком столетия, протекшие со времени ее написания. Весь быт, вся социальная структура Западной Европы коренным образом изменились. Римские папы потеряли светскую власть, и их суверенитет теперь ограничен тесными пределами Ватиканского дворца с его садами. Немецкие епископы больше не выезжают в поле, вооруженные до зубов, для защиты своих владений. Католические богословы хотя и не отказались окончательно от Фомы Аквината, но уже не делают тех наивных ошибок в латинском языке, над которыми так зло потешался Эразм. Они отстаивают древнее безумие новыми, усовершенствованными методами.

Устарела и внешняя форма «Похвального слова». Его пародийная соль остается незаметной для современного читателя, не искушенного в школьной риторике XV века. Постоянные ссылки на классическую древность требуют многословного и утомительного комментария. Сатира, восхищавшая современников своей грацией и легкостью, ныне кажется несколько тяжеловесной. И все же иные страницы «Похвального слова» сохранили до наших дней первоначальную свежесть и попрежнему бьют прямо в цель. Царица Глупость продолжает править миром. Она только переменила одежду да нацепила другую личину. Она уже не щеголяет в пестром наряде придворного шута с погремушкой в руках и не переодевается, смеха ради, в долгополую мантию схоластического педанта. Гораздо легче представить ее себе во фраке дипломата, в солидном сюртуке университетского профессора, в элегантном пиджаке бульварного журналиста. Она рассуждает уже не о богословии, а о политической экономии и о кантовской философии, цитирует Шпенглера, Ницше и Романа Ролана. Она стала хитрее, лицемернее, неуловимее, но попрежнему «на всех смертных равно изливает свою благодетельность».

Перевод «Похвального слова» представляет значительные трудности не потому, что Эразм писал темным и непонятным языком, но потому, что не всегда

удается уловить двойственный характер стиля, по существу своему искусственного и пародийного. Глупость произносит витиеватую, напыщенную речь по всем правилам старинной элоквенции. И для того, чтобы нынешний читатель мог почувствовать специфические особенности этой речи, ей приходится сообщать умышленно архаический оттенок. Но, вместе с тем, богиня Глупость, верная своей природе, то и дело срывается с тона, впадает в вульгарную развязность, высказывается откровенно и напрямик обычным разговорным языком. Чтобы сохранить эту двойственную стилистическую физиономию подлинника, пришлось во многих местах пожертвовать буквальной точностью перевода. Кроме того нескончаемые латинские периоды, которые в переводе на русский язык могли бы показаться чересчур громоздкими, разделены на самостоятельные фразы. Отдельные греческие слова и выражения, которыми обильно уснащен оригинал, в русском тексте набраны курсивом. Для перевода послужило новое критическое издание, выпущенное И. Б. Каном в Гааге, в 1898 году. В книге воспроизводятся иллюстрации, нарисованные Гансом Гольбейном Младшим на полях принадлежавшего ему экземпляра первого издания «Похвального Слова».

И. К. Губер.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО
ГЛУПОСТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

Эразм Роттердамский

своему милому

Томасу Мору ¹—

привет.

В недавние дни, возвращаясь из Италии в Англию и не желая, чтобы время, проводимое на лошади, тратилось в пустых разговорах, чуждых музам и литературе, предпочел я либо размышлять о совместных наших ученых занятиях, либо наслаждаться мысленно, вспоминая о покинутых друзьях, столь же ученых, сколь любезных моему сердцу. Между ними и ты, милый Мор, являлся мне в числе первых: отсутствующий, я не менее наслаждался при помощи памяти, нежели, бывало, присутствующий, наслаждался общением с тобою, которое, клянусь, слаще всего, что мне случилось отвесть в жизни. Итак, я решил сочинить нечто, а поскольку время не благоприятствовало предметам важным, то и задумал я сложить похвальное слово Глупости. «Какая Паллада внушила тебе эту мысль?»—спросишь ты. Во-первых, подстрекнуло меня к тому родовое имя Мора, столь же близкое к слову Мория ², сколь сам ты далек от ее существа, ибо, по общему приговору, ты от нее всех дальше. Засим мне казалось, что эта игра ума моего тебе особенно должна прийтись по вкусу, потому что ты всегда любил шутки в этом роде, иначе

говоря, ученые и не чуждые соли [ежели только не заблуждаюсь я в оценке собственного моего творения], и не прочь был разыгрывать порой Демокрита ³, глядя на повседневную жизнь смертных. Хотя по исключительной прозорливости ума ты отстоишь далеко от грубой толпы, зато благодаря необычайной легкости и кротости нрава можешь и любишь снисходить до общего уровня и изображать порою самого обыкновенного человека. Итак, ты не только благосклонно примешь это мое ораторское упражненьице, эту *памятку* о твоём товарище, но и возьмешь ее под свою защиту; отныне, тебе посвященная, она уже твоя, не моя.

Найдутся, быть может, такие хулители, которые станут распространять клевету, будто легкие эти шутки неприличны теологу и слишком язвительны для христианского смирения; быть может, даже обвинят меня в том, что я воскрешаю древнюю комедию или, по примеру Лукиана ⁴, подвергаю осмеянию всех и каждого. Но пусть те, кого возмущает легкость предмета и шутливость изложения, вспомнят, что я лишь последовал примеру многих изрядных писателей. Сколько веков тому назад Гомер воспел *Батрахомиахию* ⁵, Марон ⁶—комара и выеденное яйцо, Овидий ⁷—орех? Поликрат написал похвальное слово Бусириду, исправленное Исократом ⁸, Главк ⁹ восхвалял неправосудие, Фаворин ¹⁰—Терсита и перемежающуюся лихорадку, Синезий ¹¹—лысину, Лукиан—муху и блоху, Сенека ¹² сочинил шутливый апофеоз Клавдия, Плутарх ¹³—диалог Грилла с Улисом, Лукиан и Апулей ¹⁴—похождения осла и уже не помню кто—завещание свиньи по имени

Грунния Корокотта, о чем упоминает св. Иероним ¹⁵.

Ежели всего этого мало, то пусть вообразят строгие мои судьи, что мне пришла охота поиграть в бирюльки или поездить верхом на длинной хворостине. Ибо, разрешая игры людям всякого звания, справедливо ли отказывать в них ученому, особливо ежели он так трактует забавные предметы, что читатель, не вовсе бестолковый, извлечет отсюда более пользы, чем из иного педантического и напыщенного рассуждения? Вот один в терпеливо состряпанной речи прославляет риторику и философию, вот другой слагает хвалы какому-нибудь государю, вот третий побуждает к войне с турками. Иной предсказывает будущее, иной поднимает новые вздорные вопросики. Ежели ничего нет нелепее, как трактовать важные предметы на вздорный лад, то ничего нет забавнее, как трактовать чушь таким манером, чтобы она отнюдь не казалась чушью. Конечно, пусть судят меня другие: однако, ежели не в конец обольстила меня *Филавтия* ¹⁶, то сдается мне, что я восхвалил Глупость не совсем глупо. Что же касается вздорного упрека в излишней резкости, то отвечу что всегда дозволено было безнаказанно насмехаться над повседневной человеческой жизнью, лишь бы эта вольность не переходила в неистовство. Весьма дивлюсь я нежности современных ушей, которые, кажется, ничего не выносят, кроме торжественных титулов. Немало также увидишь в наш век таких богомолв, которые скорее стерпят тягчайшую хулу на Христа, нежели легчайшую шутку насчет папы или государя, особливо *когда речь пойдет*

о хлебе насущном. Но ежели кто судит жизнь человеческую, не называя имен, то почему, спрошу я, видеть здесь непременно язвительное издевательство, а не наставление, не увещание? Иначе сколь часто пришлось бы мне укорять самого себя. Кто не щадит ни одного звания в роде людском, тот ясно показывает, что не против отдельных лиц, а только против пороков он ополчился. Итак, ежели кто теперь завопит, жалуясь на личную обиду, то лишь выкажет тем свою боязнь и нечистую совесть. Насколько вольней и язвительней писал св. Иероним, не щадивший и имен порою! Я же не только избегал повсеместно имен собственных, но сверх того старался умерить всячески слог, дабы разумному читателю сразу понятно было, что я стремлюсь более к смеху, нежели к поношению. Я не хотел по примеру Ювенала¹⁷ ворошить сточную яму тайных пороков и охотнее выставял напоказ смешное, нежели гнусное.

Того, кто не удовлетворится всем сказанным, прошу вспомнить для самоутешения, что весьма почтенно бывает служить жертвою нападок Глупости, от лица которой я взял слово. Впрочем, стоит ли говорить все это такому искусному адвокату¹⁸, как ты; и без того ты сумеешь отстоять наилучшим манером даже и не столь правое дело. Прощай, ученейший Мор и Морню твою защищай всеусердно.

Писано в деревне, 10 июня 1508 г.¹⁹

ГЛУПОСТЬ ГОВОРИТ:

ГЛАВА I.

Глупость одним своим видом разгоняет заботы слушателей.

Пусть грубые смертные толкуют обо мне, как им угодно, ибо мне ведомо, на каком худом счету Глупость даже у глупейших, все же я дерзаю утверждать, что единственно мое божественное присутствие веселит богов и людей. Наилучшее тому доказательство перед вами: едва вошла я на кафедру в настоящем многолюдном собрании, как все лица просияли новым и непривычным весельем, все головы наклонились вперед и повсеместно раздался приятный, ликующий смех. При взгляде на вас кажется мне, будто я вижу богов Гомеровых, охмелевших от нектара, настоящего на непенте¹, тогда как доселе вы восседали печальные и озабоченные, словно воротились



недавно из Трофониевой пещеры ². Подобно тому, как утреннее солнце показывающее земле свой прекрасный золотой, лик, или как ранняя весна, веющая приятными зефирами после суровой зимы, всему сообщают новый цвет и вид и новую юность, так и у вас при взгляде на меня совсем иными сделались лица. В то время как другие великие риторы лишь при помощи длинной, старательно обдуманной речи понуждают вас стряхнуть с души тяжелые заботы, я достигла этого сразу единым моим появлением.

ГЛАВА II.

Содержание речи.

Чего ради выступаю я сегодня в непривычном мне обличи, о том узнаете, ежели будете слушать внимательно, не как церковных проповедников, но как рыночных скоморохов, шутов и фигляров или так, как наш друг Мидас ¹ слушал некогда Пана. Ибо захотелось мне появиться перед вами в звании софиста, впрочем, отнюдь не одного из тех, которые вколачивают в головы мальчишкам вредную чушь и научают их препираться с более чем бабьим упорством. Нет, я хочу подражать



тем древним грекам, которые, избегая позорной клички мудрецов, предпочли назваться софистами². Их тщанием слагались хвалы богам и великим людям. И вы тоже услышите сегодня похвальное слово, но не Гераклу и не Солону³, а мне самой, иначе говоря, Глупости.

ГЛАВА III.

Почему она сама себя хвалит.

Воистине не забочусь я нисколько о тех любознателях, которые провозглашают дерзновеннейшим глупцом всякого, кто произносит хвалы самому себе. Пусть называют они его дураком, если угодно. Кому, как не Глупости, подобает явиться трубачом *собственной славы*? Кто может лучше изобразить меня, нежели я сама? Разве тот, кому я известна ближе, нежели себе самой. Сверх того, действуя таким образом, я почитаю себя скромнее большинства великих и мудрых мира сего. Удерживаемые ложным стыдом, они не решаются сами восхвалять себя, но вместо того нанимают какого-нибудь продажного ритора или поэта-пустозвона, из чьих уст выслушивают похвалу, иначе говоря, ложь несосветную. Наш смиренник распускает хвост павлиньим обычаем, задирает хохол, а тем временем бесстыжий льстец приравнивает этого ничтожного человечка к богам, выставляет его образцом всех доблестей, до которых тому, *как до звезды небесной далеко*, украшает ворону павлиньими перьями, *пытается выбелить эфиопа и из мухи делает слона*. Наконец,

я применяю на деле народную пословицу, гласящую: если никто другой тебя не хвалит, ты правильно поступишь, сам восхвалив себя. Не знаю, чему дивиться—лености или неблагодарности смертных. Ибо хотя все они меня усердно чтут и охотно пользуются моими благодеяниями, никто, однако, не удосужился воздать в благодарственной речи похвалу Глупости, тогда как никогда не было недостатка в охотниках сочинять, не жалея лампового масла и жертвуя сном, напыщенные славословия Бусиридам, Фаларидам, перемежающимся лихорадкам, мухам, лысинам и тому подобным напастям. От меня же вы услышите неподготовленную заранее и не обработанную, но зато тем более правдивую речь.

ГЛАВА IV.

Почему говорит без подготовки.

Не хочется мне, чтоб вы заподозрили меня в желании блеснуть остроумием по примеру большинства ораторов. Ибо ведь они, дело известное, когда читают речь, над которой трудились лет тридцать, а иногда так и вовсе чужую, то дают понять, будто сочинили ее между прочим, шутки ради, в три дня, или просто продиктовали невзначай. Мне же всегда приятнее всего было говорить то, что *придет на язык*. И да не ждет никто, чтобы я по примеру тех же заурядных риторов предлагала вам здесь точные определения, а тем более разделения. Ибо как ограничивать определениями ту, чья божественная сила простирается в такую ширь, или

разделять ту, в служении которой объединился весь человеческий род? Зачем выставлять напоказ тень мою или прообраз, когда вот я сама стою здесь воочию перед вами, щедрая подательница всяческих благ, которую латиняне зовут ступльтицией, а греки *Морией*.

ГЛАВА V.

Глупость немедленно сама себя выдает.

Но есть ли какая-либо нужда говорить об этом? Разве чело мое и лик недостаточно свидетель-



ствуют о том, кто я такая? Ежели бы кто даже решился выдать меня за Минерву или за Софию¹, мое лицо — правдивое зеркало души — опровергло бы его без долгих речей. Нет во мне никакого притворства, и я не изображаю на лбу того, чего нет у меня в груди. Всегда и всюду я неизменна, так что не могут скрыть меня даже те, кто ~~пы~~тается присвоить себе личину и титул мудрости, кто разыгрывает обезьян в пурпуре и ослов в львиной шкуре. Пусть притворствуют как угодно: тор-

чащие ушки все равно выдадут Мидаса. Неблагодарна, клянусь Гераклом, та порода людей, которая всего теснее связана с моей партией, а между тем при народе так стыдится моего имени, что даже попрекает им своих ближних, словно бранною кличкой. Эти глупейшие из глупцов хотят прослыть мудрецами и Фалесами,² но можно ли назвать их иначе, как *морософами**.

ГЛАВА VI.

Подражание риторам.

Тут я действительно хочу подражать риторам нашего времени, которые считают себя уподобившимися богам, если им удастся прослыть



двуязычными¹, и которые полагают верхом изящества пересыпать латинские речи греческими словечками, хотя бы в данном случае это было совсем неуместно. Если же нехватает им этой экзотики, они извлекают из полустлевших грамот несколько устарелых

речений, которыми напускают мрак на читателя. Кто понимает их, тот тешится самодовольствием, кто не понимает, тот тем более дивится их учености. Ибо для нашей братии весьма приятно бывает восхищаться всем иноземным. А ежели попадутся

* Глупомудрецами.

среди невежественных слушателей люди самолюбивые, они смеются, рукоплещут и поматывают ушами ослиным обычаем, дабы другие могли считать их сведущими.

Теперь возвращаюсь к главному предмету моей речи.

ГЛАВА VII.

Родословная глупости, место ее рождения, ее кормилицы.

Итак, мужи... каким бы эпитетом вас почтить? Конечно, мужи глупейшие! Ибо какое более почетное прозвище может даровать богиня Глупость сопричастникам ее таинств? Но поскольку лишь немногим известно, из какого рода я происхожу, то и попытаюсь изложить это здесь при помощи муз. Родителем моим был не Хаос ¹, не Орк ², не Сатурн ³, не Япет ⁴ и никто другой из устарелых, полуистлевших богов, но Плутос ⁵, который, не во гнев будь сказано Гомеру, Гезиоду ⁶ и самому Юпитеру, есть единственный настоящий отец богов и людей. По его мановению в древности, как и ныне, свершалось и свершается все — и священное, и мирское. От его приговоров зависят войны, мир, государственная власть, советы, суды, народные собрания, браки, договоры, союзы, законы, искусства, игрища, ученые труды... — духу даже нехватает, — коротко говоря, все общественные и частные дела смертных. Без его содействия всего этого племени поэтических божеств, — скажу смелее: даже самих верховных богов — вовсе не было бы на свете или они прозябали бы жалчайшим обра-

зом. На кого он прогневаается, того не выручит и сама Паллада. Напротив, кому он благоволит, тот может пренебрегать Юпитером с его громами. *Таков мой отец.* И породил он меня не из головы своей, как некогда Юпитер эту хмурую чопорную Палладу, но от Неотиты (Юности), прекраснейшей и шутливейшей нимфы. И не в узах унылого брака, как тот хромо́й кузнец⁷, родилась я, но—что не в пример сладостнее—*от возжеления свободной любви*, как говорит наш милый Гомер. И сам отец мой был тогда не дряхлым полуслепым Плутосом Аристофана⁸, но бодрым и ловким юношей, охмелевшим от нектара, которого хлебнул он изрядно на пиру у богов.

ГЛАВА VIII.

Ежели вы спросите о месте моего рождения,—ибо в наши дни благородство зависит прежде всего от того, где издал ты свой первый младенческий крик,—то я отвечу, что не на блуждающем Делосе и не в волнующемся море, и не *под сенью пещеры* родилась я, но на тех Счастливых островах, где все растет *несеянное и непаханное*. Там нет ни труда, ни старости, ни болезней, там на полях не увидишь асфоделий, мальв, морского луку, волчцов, бобов и тому подобной дряни, но повсеместно глаза и обоняние твое ласкают молия, панацея¹, непента, амарант, амврозия, лотосы, розы, фиалки и гиацинты, достойные садов Адонисовых². Рожденная среди этих услад, не с плачем вступила я в жизнь, но ласково засмеялась на руках у матери. Воистину не завидую я *верховному Крониду*³, вскормленному

козой, ибо меня питали своими сосцами две прелестные нимфы — Мете (Опьянение), рожденная Вакхом, и Апедия (Невоспитанность), дочь Пана. Их вы можете видеть в толпе моих спутниц и наперсниц. А ежели вам угодно знать имена прочих, то—клянусь Гераклом!—я назову их не иначе, как по-гречески.

ГЛАВА IX.

Спутники Глупости.

Вот эта — с горделиво поднятыми бровями — *Филавтия* (Самолюбие). Та, что помавает глазами и плещет в ладоши, носит имя *Колакии* (Лесть). А эта, полусонная, словно дремлющая, зовется *Мисопонией* (Лень); эта, увитая розами и опрысканная благовониями — *Гедонэ* (Наслаждение). Эта с дерзкими блуждающими взорами называется *Анойя* (Безумие). Эта с лоснящейся кожей и раскормленным телом носит имя *Трюфэ* (Чревоугодие). Взгляните также на этих двух богов, затерявшихся среди девушек: одного из них зовут *Комос* (Разгул) и другого — *Нигретос-Гипнос* (Непробудный Сон). При помощи этих верных союзников я подчиняю моей власти весь род людской, отдаю приказы и самим императорам.



ГЛАВА X.

Глупости люди обязаны и самой жизнью и всеми житейскими благами.

Теперь вы знаете, каков мой род, каково воспитание и какова свита. Дабы не подумал никто, будто я без должного права присвоила себе звание богини, внимайте, наострив уши, какими благами одаряю я богов и людей и как широко простирается моя божественная сила.

Ежели не зря написал некто, что быть богом значит помогать смертным, и ежели по заслугам допущены в верховное собрание богов те, кто ввел употребление хлеба, вина и прочих хороших вещей, то почему бы и мне не именоваться альфой в алфавите богов, поскольку я щедрее всех.

ГЛАВА XI.

Прежде всего—что может быть слаще и драгоценнее самой жизни? Но кому обязаны вы возникновением ее, если не мне? Ведь не копье Паллады, *дщери могучего отца*, и не эгида *тучегонителя* Зевса производит и умножает род людской. Воистину сам отец богов и владыка людей, сотрясающий Олимп единым своим мановением, откладывает порою в сторонку тройные молнии и свое обличье титана, столь страшное небожителям. Подобно актеру, напяливает он чужую личину, когда овладевает им столь привычное ему желание *делать детей*. Стойки¹ полагают, что они всего ближе к богам. Но дайте мне тройного, четверного или, если угодно, в шестьсот

раз умноженного стойка, и я докажу, что и ему придется при случае отложить в сторону если не бороду, знамя мудрости, общее, впрочем, с козлами, то свою хмурую важность и свои твердокаменные догматы, придется расправить морщины на лбу и покориться сладостному безумию.

Утверждаю, что ко мне, лишь ко мне одной, должен будет взывать этот мудрец, ежели только возжелает стать отцом. Впрочем, почему бы мне, по обычаю моему, не изъясниться еще откровеннее? Спрашиваю вас: разве голова, лицо, грудь, рука, ухо или какая другая честная часть



тела производит на свет богов и людей? Нет, умножает род человеческий совсем иная часть, до того глупая, до того смешная, что и поименовать-то ее нельзя, не вызвав общего хохота. Таков, однако, источник, более священный, нежели числа Пифагоровы², и из него все живущее получает свое начало. Скажите по совести, какой муж согласился бы вложить голову в узду брака, если бы по обычаю мудрецов предварительно взвесил все невыгоды супружеской жизни? Какая женщина допустила бы

к себе мужа, если бы она подумала об опасностях и муках родов и о трудностях воспитания детей? Итак, если жизнью мы обязаны супружеству, а супружеством — Анойе, то сами вы понимаете, в какой мере являетесь моими должниками. Далее: какая женщина, единожды попробовавшая рожать, согласилась бы повторить этот опыт, если б не божественная сила моей спутницы Леты? Не во гнев будь сказано Лукрецию³, сама Венера не посмеет отрицать, что без моей чудесной помощи все ее могущество не имело бы ни силы, ни действия. Итак, только благодаря нашей смешной и нелепой игре рождаются на свет и угрюмые философы, чье место унаследовали нынче так называемые в народе монахи, и порфиросные цари, и благочестивые иереи, и трижды святейшие первосвященники, а за ними и весь этот рой поэтических богов, столь многочисленный, что самый Олимп, сколь он ни обширен, едва может вместить такую толпу.

ГЛАВА XII.

Но мало того, что вы обязаны мне рассадником и источником жизни: все, что есть в жизни приятного, являет собою мой дар. Чем была бы земная ваша жизнь, стоило ли бы даже называть ее жизнью, если б отнято было у нее наслаждение? Вы рукоплещете? Я так и знала, что никто из вас не настолько мудр или, вернее, не настолько глуп, — в данном случае это одно и то же, — чтобы не согласиться с моим мнением. Сами стойки не прочь от наслаждений. Пусть их притворствуют и клеймят наслаждение в гла-

зах грубой толпы. Они просто хотят отстранить других, чтобы им самим вольготнее было наслаждаться. Но пусть ответят они мне ради Зевеса: что останется в жизни, кроме печали, скуки, томления, несносных дожук и тягот, если не примешать к ней малую толику наслаждения, иначе говоря, если не сдобрить ее глупостью? Ссылаюсь на свидетельство славного Софокла¹, который воздал мне следующую красноречивую хвалу:

Всего приятнее жить, ни о чем не заботясь.

Однако, попытаемся рассмотреть этот предмет более обстоятельно.

ГЛАВА XIII.

Родство Глупости с ребячеством и старостью.

Прежде всего, кому не известно, что первые годы самый приятный и веселый возраст в жизни человека? Детей любят, целуют, ласкают, даже враг-чужеземец готов притти к ним на помощь. Чем объяснить это, если не тем, что мудрая природа окутала младенцев покровом глупости, который, чаруя родителей и воспитателей, награждает их за труды, доставляет малюткам любовь и опеку, для них необходимые.

За детством следует юность. Кому она не ми-



ла, кто к ней не благоволит, кто не стремится помочь ей, кто не протягивает ей облегчающую руку? Но от кого, спрошу я, зависит очарование юности, если не от меня? Чем меньше умничает мальчик по моей милости, тем приятнее он всем и каждому. Разве я лгу, утверждая, что люди, по мере того как они становятся старше и начинают умнеть благодаря опыту и школьному обучению, понемногу теряют телесную красоту, проворство, бодрость и силу? Чем более удаляется от меня человек, тем меньше живет он, пока не наступит для него наконец тяжелая старость, столь же несносная в себе, как и в других. Никто из смертных не вынес бы старости, если б я не поспешила на помощь. Подобно богам, которые, видя смертных, готовых расстаться с жизнью, стараются облегчить их участь посредством какой-нибудь *метаморфозы*, я, насколько могу, возвращаю к детству стариков, стоящих на краю могилы. Недаром про дряхлеющих старцев говорят в народе, будто они впали во *второе детство*. Ежели кто спросит, каким способом произвожу я подобную метаморфозу, то это не тайна. Я веду старцев к источнику Леты, берущему свое начало на Счастливых островах (лишь узким ручейком струится он затем вдоль Подземного Царства), и там, испив влаги забвения, они понемногу смывают с души своей все заботы. О них говорят, будто выжили они из ума и несут вздор. Тем лучше! Отсюда следует, что они снова впали в ребячество. Воистину, стать ребенком и значит обезуметь или поглупеть. Разве не больше других веселится в этом возрасте тот, кто поглупее? Мальчик, рассуждающий

как взрослый, всем противен. Пословица недаром гласит: «Ненавижу мальчишку с умом преждевременно зрелым». Кто согласится водить знакомство со стариком, который, наряду с приобретенной за долгие годы опытностью, сохранил полностью силу духа и остроту ума? Лучше уж ему стать дураком по моей милости. Это избавит его от тяжких забот, которые мучили бы его, если б он был мудр. Благодаря мне он еще считается недурным собутыльником. Он не испытывает пресыщения жизнью, столь мучительного в более раннем возрасте. Когда он по примеру старичка, выведенного Плавтом¹, пожелает вспомнить три литеры АМО*, он будет несчастнейшим из людей, ежели сохранил свой ум. А между тем по моей милости он счастлив, приятен друзьям и может, порою, принять участие в веселой беседе. Из уст его, как у Гомера Нестора², струится речь слаще меда, в то время как Ахилл изливает свою злобу в желчных словах. У того же Гомера старики, сидя на городской стене, ведут беседу голосами, которые стихотворец сравнивает с шелестом лилий³. В этом отношении старость стоит даже выше младенчества, без сомнения, сладостного, но лишенного приятнейшей из житейских утех, а именно — мирной болтовни.

Прибавьте к этому, что старики очень любят детей, а дети легко привязываются к старикам.

Сходные вещи сблизать привыкли великие боги⁴.

Ибо какая разница между стариком и ребенком, если не считать, что первый избороден

* По-латыни — люблю.

морщинами и насчитывает больше дней от рождения. Те же белые волосы, беззубый рот, малый рост, пристрастие к молоку, болтливость, шепелявость, непонятливость забывчивость. Коротко говоря — они во всем подобны. Чем более стареют люди, тем более уподобляются ребятам, пока, наконец, как истые дети, уходят из мира, не пресытившись жизнью и не сознавая смерти.

ГЛАВА XIV.

Глупость удерживает юность и отгоняет старость.

Теперь пусть всякий, кому это угодно, сравнит мои благодеяния с метаморфозами, совершившимися по манию других богов. Не стоит вспоминать здесь, как поступают они, будучи в гневе. Но и тех, к кому особенно благосклонны, превращают они в дерево, в птицу, в дикаду и даже в змею: как будто превратиться в нечто совсем иное — не значит погибнуть. Я же воистину возвращаю человека к лучшей и счастливейшей поре жизни. Если бы смертные удалялись от всякого общения с мудростью и проводили всю жизнь свою со мною, не было бы на свете ни одного старца, но все наслаждались бы вечной юностью. Взгляните на этих тощих угрюмцев, которые предаются либо изучению философии, либо трудным и скучным делам. Не успев стать юношами, они уже состарились. Их дух, волнуемый заботами и упорным размышлением, иссушил все их жизненные соки. А морионы¹, мои поросяточки, напротив того, гладкие, белые, с холеной шкуркой, настоящие *акарнанские свин-*

ки², никогда не испытают тягот старости, ежели только не заразятся ею благодаря общению с умниками. Не дано человеку быть всегда и во всем счастливым. Недаром, однако, учит нас народная пословица, что одна глупость способна удерживать быстро бегущую юность и отогнать негодную старость. Правильно также говорят о брабантцах, что они чем старше, тем глупее, в отличие от прочих людей, которые умнеют с годами. А между тем нет народа, с которым приятнее было бы иметь дело и который менее чувствовал бы печальное бремя старости.



По месту жительства и по обычаям всего ближе к брабантцам мои голландцы. Почему бы, в самом деле, и не назвать их моими? Они столь ревностные мои последователи, что даже заслужили из народных уст достойное их крылатое прозвище³. А они не только не стыдятся этого, но даже хвастаются.

Пусть же теперь одуроченные смертные отправляются к Медеям⁴, Цирцеям⁵, Венерам, Аврорам и отыскивают неведомый источник, который возвратит им утраченную юность, в то время, как я одна могу сделать это и всегда делаю. У меня хранится тот чудодейственный сок, посредством которого дочь Мемнона возвратила молодость своему деду Тифону⁶. Я та Венера, по чьей милости Фаон так помолодел, что в него влюбилась Сафо⁷. Мне принадлежат колдовские

травы, если только они вообще существуют, я знаю волшебные заклинания, под моей властью пребывает тот источник, который не только возвращает вам потерянную юность, но — что еще лучше — делает ее вечной. Если вы согласны, что ничего нет на свете лучше молодости и ненавистнее старости, то, конечно, вам ясно должно быть, сколь много вы обязаны мне, удерживающей такое великое благо и отстраняющей такое великое зло.

ГЛАВА XV.

Боги особенно нуждаются в Глупости.

Но что говорить о смертных? Обещите все небо, и пусть имя мое будет покрыто позором, ежели вы найдете хотя одного порядочного и приятного бога, который обходился бы без мо-



его таинственного содействия? Почему, например, Вакх¹ вечно юн и кудряв? Да потому, что он кутила и пьяница, проводит жизнь свою в пирах, плясках, пении и играх и никогда не связывается с Палладой. Он так далек от мудрости, что бывает доволен, когда ему служат со смехом и шутками. Он не оскорбляется пословицей, которая нарекла его болваном

или, точнее говоря, *огородными чучелом*. Его прозвали чучелом за то, что, когда он сидит у ворот своего храма, земледельцы для потехи обмазывают ему лицо фидами и виноградным соком¹. Каких только шуток не отпускает на его счет древняя комедия! Вот, говорят, дурацкий бог, недаром из бедра родился. И, однако, кто не предпочел бы участь этого болвана и дурня, вечно веселого, вечно юного, всюду влекущего за собою забавы и игры, жребию грозного для



всех *тайнодумца* Юпитера, или Пана, наводящего ужас своими воплями, или осыпанного золою грязного от кузнечной работы Вулкана, или даже Паллады с ее страшной Горгоной², с ее копьем и неизменно свирепым взором? Почему Купидон—вечный ребенок? Почему? Не потому ли, что он, неисправимый повеса, ни о чем серьезном и не помышляет. Почему златоликая Венера во-веки веков сохраняет свою красоту? Потому только, что она мне сродни и золотистым цветом лица недаром напоминает моего родителя. По этой причине Гомер прозвал ее Золотой Венерой. Она всегда смеется, если верить поэтам и их соперникам—ваятелям. Какое божество

чтили римляне усерднее, нежели Флору³, мать всех наслаждений?

Но ежели проследить у Гомера и других поэтов жизнь самых хмурых и степенных богов, то и здесь окажется, что все исполнено глупости. Не говоря уже о прочих богах, вам ведь известны проделки и любовные шашни самого громоносца Юпитера. Вы знаете также, что гордая Диана³, забывавшая свой пол в трудах охоты, сходила с ума по Эндимионе⁴. Впрочем, пусть лучше боги послушают о своих проказах от Мома⁵, как это часто доводилось им встарь. Но они недавно сбросили его на землю вместе с Атой⁶ за то, что он своей воркотней нарушал их блаженство. Теперь никто из смертных не оказывает гостеприимства изгнаннику, и нет ему приюта во дворцах королей, где в чести моя милая Колакия, которой быть заодно с Момом столь же не подобает, сколь ягненку общаться с волками. После изгнания Мома тем свободнее и веселее дурачатся боги, не страшась сурового цензора. Каких только шуток не откалывает затейник Приап⁷? На какие выдумки не пускается вороватый Меркурий⁸? Даже сам хромоногий Вулкан ломает дурака на пирах у богов. Своей неуклюжей поступью, остротами да прибаутками увеселяет он сотрапезников. За ним старец Силен⁹, поклонник балета, отплясывает с Полифемом¹⁰ любимую свою *претанеллу* в то время, как нимфы танцуют *босоножку*, а козлоногие сатиры представляют Ателланские фарсы¹¹. Пан шутивно-непристойной песней вызывает всеобщий смех. Боги слушают его охотнее, нежели муз, особливо когда упьются нектара. Впрочем,

вспоминать ли здесь о том, как ведут себя после пира пьяные боги? До того глупо, что, клянусь Гераклом, я сама подчас помираю со смеху. Однако, не лучше ли последовать примеру молчаливника Гарпократа¹², дабы не подслушал какой-нибудь бог-соглядатай, как ведем мы здесь речи, которые и Мому не прошли бы без кары.

ГЛАВА XVI.

Приправа Глупости нужна повсюду.

Но уже настало для нас время по примеру Гомерову, покинув небеса, спуститься на землю, где мы не найдем ни веселья, ни счастья, которые не были бы моими дарами. Во-первых, увидите вы, с какой прозорливостью чадолюбивая и благосклонная к человеку природа хлопочет о том, чтобы нигде не было недостатка в приправе Глупости. Согласно определению стоиков, мудрость есть не что иное, как жизнь по разуму. Глупость, напротив, жизнь по внушению чувств. И вот, дабы существование людей не было в конец унылым и печальным, Юпитер в гораздо большей мере одарил их чувством, нежели разумом. Можно сказать, что первое относится ко второму, как унция к грану¹. Сверх того, он заточил разум в тесном уголке черепа, а все остальное тело обрек волнению страстей. Далее, он подчинил разум двум жесточайшим тиранам: гневу, засевшему словно в крепости в груди человека, по соседству с сердцем, источником жизни, и похоти, чья безраздельная власть распространяется на все нижние

части. Повседневная жизнь достаточно показывает, насколько силен разум против этих двух врагов. Пусть его вопит до хрипоты, провозглашая правила чести и добродетели. Бунтовщики накидывают своему царю петлю на шею и поднимают такой ужасный шум, что он сдается и на все изъявляет свое согласие.

ГЛАВА XVII.

*Благодаря Глупости женщины правятся
мужчинам.*

Некий муж, рожденный для дел правления и потому одаренный крупницей разума, необходимой для поддержания мужского достоинства, обратился однажды ко мне за наставлением, по своему обычаю, и я тотчас же подала ему совет, достойный меня: сочетаться браком с женщиной, скотинкой непонятливой и глупой, но зато забавной и милой, дабы она своей бестолковостью приправила и подсластила тоскливую важность мужского ума. Ведь не зря и сам Платон¹ сомневался, к какому разряду живых существ, разумных или неразумных, подобает отнести женщину, поскольку глупость есть неотъемлемое свойство ее пола. Ежели женщина даже захочет прослыть умной, как она ни бейся, все равно останется вдвойне дурой, словно бык, которого, рассудку вопреки, ведуг на ристалище, — ибо всякий врожденный порок лишь усугубляется от попыток скрыть его под внешней личиною добродетели. Права греческая пословица, говорящая: обезьяна всегда останется обезья-

ной, если даже облечется в пурпур. Так и женщина вечно будет женщиной, иначе говоря—дурой, какое бы отличие она ни нацепила. Но я все же не считаю женщин столь глупыми, чтобы обидеться на мои слова. Ибо я сама женщина и имя мое — Глупость. Ежели поразмыслить как следует, то ведь женщины обязаны мне тем, что они без всякого сравнения счастливее мужчин. Начнем с внешней красоты, которую они справедливо ставят превыше всего на свете и с помощью которой самых гордых тиранов подчиняют своей тирании. Чем объясняется отталкивающий и дикий внешний вид мужчин, их волосатая кожа, их дремучая борода, весь этот облик преждевременной старости, который они таскают на себе без малого всю свою жизнь? Все это не что иное как порок мудрости, тогда как пухлые щеки, тонкий голос и нежная кожа женщин вечно подражают юности. Засим, к чему стремятся женщины в этой жизни, как не к тому, чтобы возможно дольше нравиться мужчинам? Не этой ли цели служат наряды, притиранья, омовенья, дорогие безделушки, благовония, раскраска лица, подрисовка глаз, искусственные увеличения телесных округлостей и тому подобные уловки? Чем привлекают они к себе мужчин, как не глупостью? Чего не позволяют им мужчины во имя сладострастия? В глупости



женщины—высшее блаженство мужчины. Этому, конечно, не станет прекословить тот, кто вспомнит, какую чушь привыкли нести мужчины в любовных беседах и какими только глупостями они ни занимаются, лишь бы сделать женщину более податливой. Теперь вы видите, из какого источника истекает любовь, первое и главное наслаждение жизни.

ГЛАВА XVIII.

Глупость — лучшая приправа попойки.

Впрочем, многие мужчины, и прежде всего старики, более пьяницы, чем женолюбцы, высшее блаженство полагают в попойках. Можно ли представить себе веселый пир, на котором отсутствуют женщины, об этом пусть судят другие. Но совершенно несомненно, что без приправы Глупости нам ничто не мило. Это до такой степени справедливо, что во всех случаях, когда подлинная, непритворная Глупость не увеселяет гостей, нарочно приглашают за плату наемного скомороха или смешного приживала, который забавными, т. е. глупыми, речами прогоняет молчание и скуку попойки. В самом деле, стоит ли обременять чрево всякой снедью, лакомствами и сладостями, если при этом глаза, уши и дух наш не услаждаются смехом, играми и шутками? А для десертов этого рода я незаменимая повариха. Кто установил все пиршественные обряды — избрание короля пира по жребию, здравицы, питье в круговую, пение с миртовой ветвью в руках, прыжки, кривлянье¹?

Не семь ли греческих мудрецов²? Нет, не ими, а мною заведено все это для блага человеческого рода. Свойство всех этих обычаев таково, что, чем больше в них глупости, тем они полезнее смертным, ибо печальная жизнь не заслуживает названия жизни. А жизнь непременно будет печальной, ежели не изгонять рожденную с нею вместе тоску посредством всевозможных забав.

ГЛАВА XIX.

Она же соединительница друзей.

Но, быть может, найдутся среди вас и такие, которые пренебрегают этого рода усладами и превыше всего ставят общение с друзьями, полагая дружбу наилучшей среди всех вещей и до того необходимой, что ни воздух, ни огонь, ни вода не могут с нею сравниться. По их мнению, лишиться дружбы все равно, что лишиться солнца. Дружба — дело в такой мере почтенное, что сами философы, если только позволительно на них здесь ссылаться, именуют ее в числе верховных благ. А что, ежели я докажу, что именно я являюсь и кормою, и носом корабля, доставляющего вам это великое благо? И докажу это не крокодилитами, не соритами¹, не рогатыми силлогизмами и не какими-либо диалектическими хитросплетениями, а просто ткну пальцем, ссылаясь на обычный житейский здравый смысл. Потакать слабостям своих друзей, закрывать глаза на их недостатки, восхищаться их пороками, словно добродетелями — что может быть ближе к глупости? Когда влюбленный целует

родимое пятнышко своей подруги, когда он восхищается бородавкой своей овечки, когда отец говорит про косоглазого сына, будто у того плутоватые глазки, — что это такое, как не простая глупость? Да, конечно, тройная и четверная глупость. Но она одна соединяет друзей и охраняет дружбу. Я говорю о простых смертных, из коих ни один не рождается на свет без недостатков. У кого недостатков меньше, тот и лучше всех. Что же касается богоподобных философов, то в их среде вовсе не бывает дружбы, а если и бывает, то какая-то пасмурная, лишенная всякой приятности, распространяющаяся лишь на немногих, ибо большинство людей глупы и всякий дурачится на свой образец, а сближение возможно лишь с себе подобными. Если между этими суровыми мужами и зародилось взаимное благоволение, то оно не бывает прочным и длительным. Они такие строгие, такие глазастые, на пороки друзей они зорки, будто орел или змей Эпидаврский², а собственных пороков не видят, словно котомки у себя за плечами. У людей уж такая натура, что никто из них не бывает свободен от великих и тяжких пороков. Прибавьте сюда разницу лет и занятий, промахи, ошибки, жизненные случайности и скажите: есть ли малейшая возможность для этих Аргусов вкушать сладость дружбы в течение одного только часа, ежели не придет к ним на помощь так называемая у греков *Эвифия* (Благодушие), а по-нашему глупость и легкомыслие? Да что там толковать! Сам Купидон, виновник и родитель всякого сближения между людьми, разве не слеп? Поэтому и ему сплошь

да рядом *непрекрасное кажется прекрасным*. Да и между вами то же бывает: каждый доволен своим. Старичок боготворит свою старушку, а мальчишка — свою девчонку. Это делается повсюду, и над этим смеются, но именно эти смешные повадки людей делают жизнь приятной и связывают общество воедино.

ГЛАВА XX.

Примирительница супругов.

Сказанное о дружбе применимо и к браку, который есть ведь не что иное, как союз между двумя людьми на всю жизнь. Боже бессмертный, сколько было бы повсеместно разводов или чего другого похуже, если б мужья и жены не скрашивали и не облегчали домашнюю жизнь при помощи лести, шуток, легкомыслия, заблуждения, притворства и прочих моих спутников! Да и много ли вообще заключалось бы браков, если б жених благоразумно осведомлялся, к каким играм привыкла задолго до свадьбы эта столь деликатная и стыдливая на вид барышня? И сколь недолговечны были бы уже заключенные браки, если б деяния жен не оставались неведомыми вследствие небрежности или бестолковости мужей! Все это заслуга Глупости. Ее одну благодарить надо, если жена попрежнему любезна мужу, муж любезен жене, если в доме царит мир и семейная жизнь продолжается. Над рогоносцем смеются и какими только не честят его именами, когда он стирает поцелуями слезы своей прелюбодейки. Но насколько лучше так заблуждаться, нежели терзать себя ревностью и наполнять жизнь свою трагедиями!

ГЛАВА XXI.

Связь всякого человеческого общества.

В общем без меня никакое общество и никакая житейская связь не были бы приятными и прочными. Народ не мог бы долго сносить своего государя, господин—служителя, служанка—госпожу, учитель—ученика, друг—своего друга, жена—мужа, наниматель—домохозяина, сожитель—сожителя, товарищ—товарища, ежели бы они взаимно не заблуждались, не прибегаи к лести, не щадили чужих слабостей, не потчевали друг друга медом глупости. Вы полагаете, что это все? Нет, сейчас вы услышите кое-что получше.



ГЛАВА XXII.

Почему Филавтия именуется родной сестрой Глупости.

Спрашиваю, может ли полюбить кого-либо тот, кто сам себя ненавидит? Как сговорится с другими тот, кто сам с собою воюет? Какой приятности ждать от того, кто сам себе опостылел и сделался в тягость? Никто, полагаю, не

дерзнет утверждать, будто нечто подобное возможно, ежели не захочет прослыть глупее самой Глупости. Попробуйте отвергнуть меня! Не только все прочие люди станут вам несносны, но и каждый из вас себе самому сделается мерзок и ненавистен. Природа во многих смыслах скорей мачеха, нежели мать: ведь наградила же она смертных, особливо тех, кто чуть-чуть поумней, склонностью гнушаться своего и ценить чужое.

Благодаря этому вся сладость, вся красота жизни извращается и погибает. Какой толк от красоты, высшего дара бессмертных богов, если она заражена чопорностью? Что пользы в юности, ежели к ней припешана закваска старческой печали? Каким образом можешь ты действовать



и в своих и в чужих глазах изящно и благовидно (ибо изящество потребно не в одних искусствах, но во всех делах человеческих), ежели не явится тебе на помощь стоящая одесную меня Филавтия, которую я по заслугам считаю моей родной сестрой, — так ловко разыгрывает она повсюду мою роль. Что может быть глупее самолюбования? Но что изящное или приятное можешь ты сделать, ежели сам себе будешь противен? Отними у жизни эту приправу, и замерзнет со своей речью оратор, никому не угодит своими тактами музыкант, освистан будет со своим кривляньем актер, осмеян заодно с музами поэт, впадет в ничтожество с искусством

своим живописец, отощает от голода со своими лекарствами врач. Вместо Нирея¹ ты увидишь Терсита, вместо Фаона — Нестора, вместо Минервы — свинью, вместо красноречивого оратора — бессловесного младенца, вместо франта — неотесанную деревенщину. Надо человеку любоваться самим собой; только при этом условии сумеет он понравиться и другим. Наконец, высшее блаженство состоит в том, чтобы быть, чем хочется, а в этом деле помочь в силах одна моя Филавтия. Благодаря ей каждый бывает доволен своей внешностью, умом, происхождением, должностью, судьбой и отечеством до такой степени, что ирландец не согласится поменяться с итальянцем, фракиец — с афинянином, скиф — с жителем Счастливых островов. Поразительна мудрость природы: при наличии такого разнообразия сумела она всех уравнять. Ежели кому нехватает ее даров, она возмещает этот изъян усиленной дозой самодовольствия. Впрочем, я неудачно выразилась, ибо самодовольствие и является ее наилучшим даром. Смею сказать: ни одно великое дело не обошлось без моего внушения, ни одно возвышенное искусство не возникло без моего содействия.

ГЛАВА XXIII.

Глупость — причина войн.

Не война ли рассадник и источник всех достохвальных деяний? А между тем, что может быть глупее, как вступать по каким бы то ни было причинам в такое состязание, во время

которого каждая сторона обязательно испытывает гораздо больше неудобств, нежели приобретает выгод? О тех, которые будут убиты, не стоит и распространяться. Но я спрашиваю вас: когда два войска, закованные в железо, стоят одно против другого и воздух оглашается пением труб, какой толк от этих мудрецов, истомленных учением, с разжиженной, холодной кровью в жилах? Здесь потребны силачи, здоровяки, у которых чем больше отваги и чем меньше ума, тем лучше. Кому нужен такой воин, как Демосфен¹, который, следуя совету Архилоха², бежал, бросая щит, едва завидел врагов? Он был мудрый оратор, но никуда негодный воин. Говорят, однако, что в военном деле тоже прежде всего потребен ум. Да, для вождей. Но только ум военный, а вовсе не философский. Война, столь всеми прославляемая, ведется дармоедами, сводниками, ворами, убийцами, невежественными мужиками, неоплатными должниками и тому подобными подонками общества, и отнюдь не просвещенными философами.

ГЛАВА XXIV.

Невыгоды Мудрости.

Насколько философы непригодны для деятельной жизни, тому пример сам Сократ¹, возведенный оракулом Аполлоновым в звание единственного мудреца — приговор, впрочем, не особенно мудрый. Сократу вздумалось, уже не помню по какому случаю, выступить однажды с публичной речью. И что же? Он вынужден

был удалиться, всеми осмеянный. И, однако, муж сей был до такой степени мудр, что даже отвергал прозвание мудреца, считая его приличным только самому богу, и учил, что умному человеку не подобает вступаться в государственные дела. Лучше бы уж он посоветовал сторониться от мудрости всякому, кто хочет оставаться в числе людей. За что, как не за мудрость, он сам осужден был испить цикуту? Ибо, рассуждая об облаках и идеях, измеряя ножки блохи и умиляясь пению комара, он не успел научиться ничему, имеющему отношение к повседневной жизни. Когда дело шло о голове наставника, его ученик Платон, замечательный адвокат, запнулся на первой половине фразы, смущенный шумом толпы. А что сказать о Теофрасте²? Взойдя на кафедру, он тотчас онемел, словно увидел волка. Исократ, воодушевлявший в своих писанных речах воинов для битвы, был так застенчив, что ни разу не решился выступить публично. Марк Туллий³, отец римского красноречия, когда начинал говорить, трясся самым жалким образом, словно всхлипывающий ребенок, в чем Фабий видит доказательство добросовестного и сознательного отношения оратора к своей задаче. Однако, утверждая это, не признает ли он тем самым мудрость препятствием для порядочного ведения тяжёбных дел? Что станет с нашими философами, когда в ход пойдет железо, ежели они трепещут от страха даже в простом словесном бою? И после этого прославляют, прости господи, знаменитое изречение Платона: «Блаженны государства,⁴ в которых философы повелевают, либо властители

философствуют». Справься у историков, и увидишь, что ничего не бывало пагубнее для страны тех государей, которые баловались философией или науками. Для примера здесь достаточно будет поименовать обоих Катонов ⁴, из коих один смущал спокойствие республики безумными доносами, а другой, защищая с излишней мудростью свободу народа римского, способствовал ее окончательному падению. Прибавьте сюда Брутов, Кассиев ⁵, Гракхов ⁶ и даже самого Цицерона, который не меньше вреда принес республике Римской, нежели Демосфен-Афинской. Даже Марк Антонин ⁷, который, признаюсь, был хорошим императором, своей философией сделался всем в тягость и возбудил всеобщую ненависть. Он был человек добрый, но больше вреда причинил государству, оставив престол такому наследнику, как сын его Коммод, нежели принес пользы всем своим управлением. Почему-то нет удачи людям, занимающимся изучением мудрости, во всех делах их, особливо же в детях, как будто сама предусмотрительная природа заботится о том, чтобы болезнь мудрования не распространялась слишком широко. Известно, что сын Цицерона был настоящим выродком, а мудрый Сократ имел детей, более похожих на



мать, чем на отца, т. е., как правильно заметил некто, в высшей степени глупых.

ГЛАВА XXV.

Пусть бы они были непригодны для общественных должностей, словно *ослы для игры на лире*, лишь был бы от них какой-нибудь прок в повседневных житейских делах. Но, допусти мудреца на пир, он тотчас всех смутит угрюмым молчанием или неуместными расспросами. Позови его на танцы, он запляшет, словно верблюд. Приведи его на какое-нибудь общественное зрелище, он одним своим видом испортит публике всякое удовольствие. И придется мудрому Катону уйти из театра, если он не сможет хоть на время отложить в сторону свою хмурую важность. Если мудрец вмешается в разговор, всех, будто волк, напугает. Если надо что-либо купить, если предстоит заключить какую-либо сделку, если, коротко говоря, речь пойдет об одной из тех вещей, без которых невозможна повседневная жизнь, — тупым чурбаном покажется тебе мудрец этот, а не человеком. Ни себе самому, ни отечеству, ни своим близким не может быть он ни в чем полезен, ибо не искушен в житейских делах и слишком далек от общепринятых мнений и всеми соблюдаемых обычаев. Из такого разлада с действительной жизнью и нравами неизбежно рождается ненависть ко всему окружающему, ибо в человеческом обществе все полно глупости, все делается дураками и ради дураков. Ежели кто захочет один восстать против всей вселенной, я посоветую ему бежать по примеру Тимона¹ в пустыню и там, в уединении, наслаждаться своей мудростью.



ГЛАВА XXVI.

Сила всякого вздора в народе.

Но возвращаюсь к прежде сказанному: какая сила собрала этих каменных, дубовых, диких людей в государство, если не лесь? Таков единственный смысл преданий о кифаре Амфиона и Орфея¹. Что привело к миру и согласию римский плебс, уже готовый разрушить республику? Быть может, философская диссертация? Отнюдь! Просто нелепая, ребяческая басня о чреве и остальных членах человеческого тела². Не менее пользы принесла сходная басня Фемистокла³ о лисице и еже. Какая мудрая речь могла бы сравниться по своему действию с вы-



думкой Сертория ⁴, рассказавшего своим солдатам про вещую лань, или с опытами, которые славный спартанец ⁵ проделал с двумя собаками, а тот же Серторий — с лошадиным хвостом. Не буду говорить о Миносе ⁶ и Нуме ⁷, которые правили глупой толпой посредством ловко придуманных басен. Чепуха этого сорта приводит в движение исполинского и мощного многоглавого зверя — народ.

ГЛАВА XXVII.

Жизнь человеческая — только забава Глупости.

И обратно, какое государство когда-либо приняло законы Платона или наставления Сократа? Что побудило Дециев ¹ удалиться в царство теней, что заставило Курция броситься в расщелину, если не суетная слава, обольстительная сирена, строго порицаемая нашими мудрецами? Что может быть глупее, говорят они, как пресмыкаться перед народом в качестве искателя должностей, снискивать посулами народное благоволение, гоняться за рукоплесканиями глупцов, радоваться приветственным кликам, позволять носить себя во время триумфа, словно знамя, на потеху черни, стоять на площади в образе медной статуи? Вспомните чванство громкими именами и почетными прозвищами. Вспомните божеские почести, воздаваемые ничтожнейшим людишкам, и торжественные обряды, которыми сопричислялись к богам гнуснейшие тираны. Все это глупее глупого. Для осмеяния этого понадобился бы не один Демокрит. Кто решится отрицать

это? Но не из этого ли источника родились подвиги могучих героев, которых столькие красно-речивые мужи превознесли до небес в своих писаниях? Глупость создает государства, поддерживает власть, религию, управление и суд. Да и что такое вся жизнь человеческая, как не забава Глупости?

ГЛАВА XXVIII.

Жажде суетной славы люди обязаны науками и искусствами.

Но обратимся к наукам и искусствам. Что, кроме жажды славы, могло подстрекнуть умы смертных к изобретению стольких, по общему мнению, превосходных наук? Воистину глупы до-нельзя люди, полагающие, что какая-то ничемная известность может вознаградить их за бдения и труды. Но, однако, именно Глупости обязаны вы столькими преимуществами, причем — а это всего слаще — вы пользуетесь плодами чужого безумия.

ГЛАВА XXIX.

Глупость требует, чтобы ее похвалили за рассудительность.

Теперь, после того как я по праву потребовала себе похвал за мощь мою и усердие, требую также, чтобы вы похвалили мою рассудительность. Ежели кто скажет, что рассудительность мне столь же родственна, сколь вода огню, то я отвечу, что берусь доказать это мое утвер-

ждение. Слушайте только меня попрежнему внимательно и благосклонно.

Если рассудительность прежде всего сказывается в деловой сноровке, то кто, спрошу я, имеет право притязать на почетное звание человека рассудительного — мудрец ли, который частью по излишней совестливости, частью по душевной робости ничего не решается предпринять, или на все дерзающий дурак, не сдерживаемый ни стыдом, которого не имеет, ни опасностью, которой не сознает? Мудрец обращается к древним писаниям и выискивает в них разные бесполезные тонкости. Дурак, напротив того, постоянно вращаясь в самой гуще жизни, тем самым доказывает истинную свою рассудительность. Это ясно видел, вопреки своей слепоте, еще Гомер и потому сказал: «То, что свершилось уже, и ребенок понять в состоянии».

Ибо два великие препятствия стоят на пути правильного понимания вещей: стыд, наполняющий душу, словно туман, и страх, который перед лицом опасности удерживает от смелых решений. Но и от стыда, и от страха одинаково спасает вас Глупость. Лишь немногие смертные понимают, сколь выгодно и удобно никогда не стыдиться и ни перед чем не робеть. Если же под рассудительностью разумеешь способность правильно судить о вещах, то послушайте, молю вас, сколь далеки от того те, кто всего более похваляется этой способностью. Прежде всего не подлежит сомнению, что все вещи имеют два лица, подобно силенам Алкивиада ¹, и лица эти отнюдь не схожи одно с другим. Снаружи как будто смерть, а ежели внутрь заглянешь, уви-

дишь жизнь, и наоборот, под жизнью скрывается смерть, под красотой — безобразие, под изобилием — жалкая бедность, под позором — слава, под ученостью — невежество, под мощью — убожество, под благородством — низость, под весельем — печаль, под преуспеянием — неудача, под дружбой — вражда, под пользой — вред; коротко говоря, сорвав маску с Силена, увидишь как раз обратное тому, что рисовалось с первого взгляда. Ежели это мое рассуждение кому-нибудь покажется чересчур философским, то, извольте, буду говорить грубее и проще. Кого, как не короля, считать богатым и могучим? Но ежели не имеет он в душе своей ничего доброго, ежели вечно он ненасытен, то остается беднейшим из бедняков. Чем больше в душе его пороков, тем более презренный он раб. Подобным же образом надлежит рассуждать и обо всем остальном. Но хватит с нас и этого одного примера.

«К чему, однако, все это?» — быть может спросит кто-либо из вас. Сейчас услышите, куда я клоню. Если бы кто-нибудь сорвал на сцене маски с актеров, играющих комедию, и показал зрителям их настоящие, им свойственные, лица, разве не прогнали бы его из театра камнями, как юродивого? Вообразите только, что все вещи вдруг принимают новое обличье, так что женщина вдруг оказывается мужчиной, юноша — старцем, недавний царь — жалким оборвышем, бог — ничтожным смертным. Устранить ложь, — значит испортить все представленья. Только лицедейство и переодеванье приковывают к себе глаза зрителей. Но вся жизнь человеческая есть не иное что, как некая комедия, в которой все люди,

нацепив личины, играют каждый свою роль, пока хорэг² не уведет их с просцениума. Хорэг этот часто одному и тому же лицедею поручает различные роли, так что порфиросный царь внезапно появляется перед нами в виде несчастного раба. На настоящем театре все оттенено более резко, но, в сущности, там играют совершенно так же, как в жизни.



Что, ежели теперь какой-либо мудрец, свалившийся с неба, начнет вдруг вопить, что тот, кого все почитают за бога и своего господина, просто человек, преданный скотским страстям, и ничтожный раб, поскольку он сам добровольно служит столь многим и столь гнусным владыкам? Что, если, встретив человека, оплакивающего своего умершего отца, мудрец повелит ему радоваться, ибо покойник только теперь начал по-настоящему

жить: ведь наша здешняя жизнь — лишь подобие смерти? Что, если тот же мудрец, увидя дворянина, хвастающегося своими предками, обзовет его безродным нищим на том основании, что ему не дана в удел сердечная доблесть, единственный источник истинного благородства? Что, если он со всеми и с каждым вздумает рассуждать подобным же образом? Разве не начнут все глядеть на него, как на буйно помешанного? Как ничего нет глупее непрошенной мудрости,

так ничего не может быть опрометчивее сумасбродного благоразумия. Сумасбродом называю я всякого, не желающего считаться с установленным положением вещей, не помнящего основного закона всякого пиршества: *либо пей, либо уходи*, и требующего, чтобы комедия не была комедией. Напротив, рассудителен тот, кто, будучи смертным, не стремится быть мудрее, чем это подобает смертному, кто снисходительно смотрит на толпу и вежливо заблуждается заодно с нею. Но ведь в этом и состоит глупость, скажут мне. Не стану спорить, но и вы согласитесь со мною, что это и значит играть комедию жизни.

ГЛАВА ХХХ.

Глупость ведет к мудрости.

Говорить ли мне дальше, о, боги бессмертные, или умолкнуть теперь же? Зачем умолкать, когда слова мои — сущая правда? Но в таком деле не мешает пригласить на помощь муз Геликонских, к которым поэты привыкли взывать ради всякой чепухи. Итак, пособите мне малость, дочери Юпитера, дабы могла я доказать, что к высокой оной мудрости и блаженству, к этой твердыне, как ее прозвали философы, не отыскать пути, ежели Глупость не согласится быть вашим вожатым. Уже признано нами, что все чувствования подлежат ведению Глупости. Тем и отличен от дурня мудрец, что руководствуется разумом, а не чувствительностью. Поэтому стойки тщатся отстранить от мудреца все волнения, как бы некие болезни, забывая, что вол-

нения эти не только направляют, словно рачительные пестуны, поспешающего в гавань мудрости, но сверх того служат хлыстом и шпорами доблести, ибо они-то и побуждают человека ко всякому доброму делу. Правда, против этого яростно спорит сугубый стоик Сенека, воспреещающий мудрецу всякую чувствительность. Но при этом он воображает уже не человека, а некоторого нового бога, какого никогда не бывало и никогда не будет. Говоря яснее, он создает мраморное подобие человека, неосмысленное и лишенное всех людских свойств. Пусть философы, ежели им это нравится, носятся со своим мудрецом, пусть любят его одного, пусть обитают с ним в республике Платона, или в царстве идей, или в садах Танталовых. Кто не убежит в ужасе от такого существа, не то чудовища, не то привидения, недоступного всем природным чувствованиям, не знающего ни любви, ни жалости, подобного холодному камню или диким скалам Марпезийским¹, от которого ничто не ускользает, который никогда не заблуждается, который, подобно зоркому Линкею, все видит насквозь, все взвешивает по правилам своей науки, все знает, который единственно собою доволен, который один богат, здоров, только один царь, только один свободен; короче говоря он — все, но лишь в собственных своих помышлениях. Не печалится он о друге, ибо сам никому не друг; даже богам готов он накинуть петлю на шею, ибо все, что только случается в жизни, он осмеивает и порицает, словно безумие. Такая скотина этот совершенный мудрец. Теперь спрашиваю: ежели пустить вопрос на голоса, какое госу-

дарство согласится поставить над собою подобного правителя, какое войско последует за подобным вождем, какая женщина избрет себе такого супруга, кто согласится иметь за столом такого сотрапезника, какой раб снесет иго господина, обладающего подобным нравом? Кто не предпочтет ему последнего дурака из просто-народья? Глупец лучше кого-либо другого способен повелевать глупцами или повиноваться им, он будет угоден себе подобным, ласков с женой, приятен с друзьями, весел на пиру, непритязателен в сожительстве, и не чуждо ему ничто человеческое. Но мне даже противно говорить долее об этом мудреце. Обратимся лучше к другим благам, которые доставляет вам Глупость.

ГЛАВА XXXI.

Только благодаря Глупости жизнь бывает сносной.

Ежели поглядеть на наш мир с высоты небес, как Юпитер смотрит, по рассказам поэтов, скольких бед исполнена жизнь человеческая: жалкое и грязное рождение, мучительное учение, детство, подверженное стольким обидам, юность, обремененная столькими трудами, тяжкая старость, горестная необходимость смерти, целая рать болезней, множество несчастных случайностей и житейских докук. Повсюду мед отравляется желчью. Не стану уже вспоминаять, сколько зла причиняет человек человеку. Бедность, позор, бесчестие, пытки, мятежи, предательство, злословие, тяжбы, обманы... Но я уже, кажется, начала, как это говорится, *исчислять песок*

морской. Негоже рассуждать здесь о том, какими грехами навлекли на себя все это люди или какой гневный бог осудил их родиться для бедствий и скорбей. Воистину всякий, кто поразмыслит как должно, никогда не осудит Милетских дев¹, сколь ни жалка явилась их



участь. Но какие люди чаще всего налагали на себя руки, пресытившись несносными печальми жизни? Не те ли, которые ближе всего стояли к мудрости? Не говоря уже о Диогенах², Ксенократах³, Катонах, Кассиях и Брутах, напомним здесь Хирона⁴, который мог быть бессмертным, но предпочел смерть. Судите сами, что случилось бы, если б все

люди были мудрецами: опять понадобился бы кусок глины и вновь пришлось бы работать Прометею⁵. Но я при помощи невежества, бездумья, забвения всех зол и надежды на лучшее будущее опаиваю людей медом блаженства и так успешно помогаю им в бедах, что никто не желает расставаться с жизнью, пока Парки⁶ не кончили своей пряжи. Чем меньше у человека причин дорожить существованием, тем крепче он за него цепляется и не подозревает даже, что такое пресыщение и

тоска. Благодаря моим дарам вы увидите повсеместно старцев в летах Несторовых, у которых и образа человеческого не сохранилось, шепелявых, беспамятных, беззубых, седых, плешивых, зловонных, похожих на Плутоса, каким его представил Аристофан, и, однако, они так



наслаждаются жизнью, так *молодятся*, что иной, глядишь, красит свои седины, другой прикрывает лысину накладными кудрями, третий вставляет себе зубы, быть может, выдернутые из свиной челюсти, четвертый жалостно вздыхает по какой-нибудь девчонке и в любовных глупостях готов состязаться с зеленым юнцом. Иные уже в гроб смотрят, настоящие старые хрычи, а туда же, берут себе молодую супругу,

конечно бесприданницу, и берут ее на потребу не столько себе, сколько другим. Это случается повсеместно и вызывает даже похвалы. Еще забавнее, когда дряхлая старуха, похожая на труп и словно только что воротившаяся из царства мертвых, то и знай повторяет: «Светик мой», резвится, жеманится, привлекает за немалую мзду какого-нибудь Фаона, усердно выщипывает щетину у себя на лице, не отходит от зеркала, мечтает о том, чтобы в некоем ином месте волосы у нее были словно у отроковицы, выставляет напоказ свои увядшие рыхлые груди, криками, бранью подстрекает уснувшее вождение, вмешивается в толпу пляшущих девушек, строчит любовные цидулки. Все смеются над этим, потому что это воистину весьма глупо. Но сами старушонки собою довольны, наслаждаются жизнью, упиваются медом, и все по причине моих благодеяний. И я прошу всех, кто находит это смешным, поразмыслить на досуге: что лучше — наслаждаться таким образом при содействии Глупости или искать, как это говорится, перекладину для петли. Что касается позора, который, по общему мнению, навлекают такие дела, то для моих дурачков его как бы не существует: они либо вовсе его не сознают, либо, ежели сознают, то легко с ним мирятся. Вот, если камень на голову свалится, это настоящая беда, а позор, бесчестие, хула и худая молва лишь постольку могут быть названы бедами, поскольку мы их замечаем. Что тебе до того, ежели все тебе свищут, когда сам ты себе рукоплещешь? Но это возможно лишь при помощи Глупости.

ГЛАВА ХХИІ.

Науки изобретены на пагубу роду людскому; среди них особенно ценятся те, которые связаны с Глупостью.

Но уже предвижу, что со мной заспорят философы. «Придерживаться глупости, — скажут они, — заблуждаться, обманываться, коснеть в невежестве, — все это и значит быть несчастным». Нет, это значит быть человеком. Не понимаю, чего ради называть таких людей несчастными, ежели они так рождены, так воспитаны, так приучены и ежели таков общий удел. Нет никакого несчастья в том, чтобы уподобляться во всех отношениях другим существам своей породы. Иначе придется жалеть человека потому, что он не может летать вместе с птицами, не ходит на четвереньках со всеми остальными скотами и не носит на лбу рогов наподобие быка. Воистину, тогда пришлось бы назвать несчастливцами прекраснейшего коня, потому что он не изучает грамматики и не кушает пирожных, и быка — потому что он не пригоден для забав палестры¹. Итак, если конь, несведущий в грамматике, не является несчастным, то нельзя назвать несчастным и глупого человека, ибо такова уж его натура. Здесь опять ополчатся на меня хитроумные спорщики: «Для того, — говорят они, — и дано человеку в особенности познание наук, чтобы он образованием ума восполнял пробелы, оставленные природой». Но разве это хоть в малой мере похоже на правду: природа, создавшая с таким бдительным тщанием мошек, травы и цветы, могла ли задремать и дать маху, когда

творила человека, так что один он нуждается в науках? Науки на погибель роду человеческому изобрел Тевт², этот злотворный гений. Отнюдь не будучи полезными для нашего блаженства, науки лишь вредят той цели, ради которой они якобы созданы, как это изящно и остро доказывает у Платона один умный царь.

Итак, науки, вместе с другими язвами человеческой жизни, появились на свете лишь по вине тех, от кого произошли и все прочие напасти, а именно демонов. На то указывает самое их название: демоны, правильнее *даэмоны*, т. е. знающие. В золотом веке человеческий род, невооруженный никакими науками, жил, следуя указаниям одной природы. Какая, в самом деле, была нужда в грамматике, когда у всех был один общий язык и искусство речи служило лишь для того, чтобы люди понимали друг друга? Какую пользу могла принести диалектика, когда не существовало несходных мнений? Есть ли место риторике там, где не ведется никаких переговоров? К чему знание законов при отсутствии дурных нравов, от которых, в том нет сомнения, родились хорошие законы? Древние люди были слишком богобоязненны, чтобы испытывать с нечестивым любопытством тайны природы, исчислять величину, движение и действие небесных тел. Они сочли бы кощунством желание смертного человека сделаться мудрее, нежели то предопределено его жребием. А безумная мысль исследовать то, что находится за пределами небес, никому и в голову не западала. Но по мере того, как первобытная невинность золотого века начала клониться к упадку, злые

гении, как уже сказано, изобрели науки, впрочем, на первых порах весьма немногочисленные и воспринятые лишь немногими. Впоследствии суеверие халдеев³ и досужее легкомыслие греков присовокупили сюда множество новых орудий умственной пытки, так что теперь одной грамматики за глаза хватит, чтобы обратить в сплошное мученье всю жизнь человека.

ГЛАВА ХХIII.

Да и между самими науками превыше всего ценятся те, которые ближе стоят к здоровому





смыслу, иначе говоря, к глупости. Голодают богословы, мерзнут физики, терпят посмеяние астрологи, живут в пренебрежении диалектики. Только муж врачеватель чтится за многих, по слову Гомерову. Но и среди врачей — кто невежественнее, нахальнее,

самонадеяннее остальных, тому и цена выше даже у венчаных государей. Да и сама медицина, в том виде, в каком многие ею теперь занимаются, не что иное, как искусство морочить людей, совершенно так же, как риторика.

К врачам ближе всего законники-крючкотворы. Не знаю, право, быть может, даже их следует поставит на первое место. Во всяком случае, все философы единодушно называют это ремесло ослиным. И, однако, от решений этих ослов зависят решительно все — как важные, так и ничтожные сделки. Имена их умножаются, между тем как теолог, проникший во все тайны божества, жует волчцы и ведет войну с клопами и блохами. Итак, если среди ученых счастливее других те, которые состоят в наиболее близком родстве с Глупостью, то кольми паче счастливы люди, воздерживающиеся от всякого соприкосновения с науками и исполняющие веления одной природы, которая никогда не заблуждается, если

только мы не попытаемся перешагнуть за положенные человеческой доле границы. Ненавистна природе всякая фальшь, и всего лучше бывает то, что не искажено никакой наукой.

ГЛАВА ХХХІV.

Из животных всего счастливее те, которые не знают никакой дрессировки.

Посмотрите далее на любую другую породу живых существ: всех счастливей те, которые не знают ни учения, ни дрессировки, но живут исключительно по закону природы. Кто блаженнее пчел? Кто более их достоин удивления? А они даже не обладают всеми нашими телесными чувствами. Какой архитектор сравнится с ними в сооружении построек? Какому философу удалось учредить столь совершенную республику? А вот, с другой стороны, лошадь: чувствами своими она вполне подобна человеку и уже давно стала его походным товарищем, зато и делит с ним все бедствия. Во время состязаний и на войне она стыдится быть побежденной. Она напрягает все силы для победы, пока не ударится мордой о землю вместе с седоком. Не говорю уже о зубчатых удилах, изощренных шпорах, стойлах, подобных темницам, хлыстах, плетях, путах, тяжести всадника и вообще обо всей этой трагедии рабства, на которую она добровольно себя обрекла, потому что стремится, подражая могучим мужам, отмщать своему врагу. Сколь предпочтительнее образ жизни мушек и птичек, подчиняющихся одной природе! Лишь

бы люди не преследовали их своими западнями. Птицы, попавшие в клетки, вскоре привыкают болтать человеческим языком и теряют весь блеск своей природной красоты. Настолько все, созданное природой, выше всего, подделанного искусством! Не нахожу достаточно похвал для этого петуха Пифагора¹, который последовательно был философом, мужчиной, женщиной, царем, простолудином, рыбой, лошадью, лягушкой и даже, сколько помнится, губкой, и решил в конце концов, что никого нет несчастнее человека, поскольку все остальные животные довольствуются теми пределами, в которые их заключила природа, и лишь он один пытается раздвинуть границы своего жребия.

ГЛАВА XXXV

Дураки, юродивые, глупцы и слабоумные гораздо счастливее мудрецов.

Между людьми идиоты стоят много выше ученых и знатных. Грилл¹ оказался гораздо мудрее многоопытного Одиссея, когда предпочел лучше хрюкать в хлеву, нежели подвергаться вместе со своим господином новым бедствиям. В этом сомною, кажется, согласен и сам Гомер, отец всяческой чуши, ибо он постоянно именует смертных *жалкими и злополучными*, а мудрого своего Одиссея частенько зовет *горемыкой*. Он ни разу не дает этого прозвища ни Парису, ни Аяксу, ни Ахиллу. Почему бы это? Не потому ли, что хитрый выдумщик Одиссей ничего не предпринимал без совета Паллады, мудрил свыше

меры и постоянно отвергал внушения природы? Итак, между смертными те всего далее отстоят от блаженства, которые стремятся к мудрости. Вдвойне же глупы те, которые, будучи рождены людьми, мечтают уподобиться бессмертным богам и по примеру титанов ведут войну против природы при помощи машин, именуемых науками. Зато гораздо менее несчастны те, которые близки к скотскому состоянию и к глупости и не стараются достигнуть того, что не дано человеку.

Поясним это не стоическими энтимемами², но самым грубым и для всех очевидным опытом. Бессмертными богами клянусь, не лучше ли всего живет-ся той породе людей, которые слывут шу-тами, дураками, су-щеглупыми, юродивы-



ми и носят другие, тому подобные, прозвища? То, что я скажу сейчас, на первый взгляд может показаться нелепым, и, однако, это истинная правда. Прежде всего этого рода люди свободны от страха смерти, зла превеликого, клянусь Юпитером! Укоров совести они не знают, призраков и прочей нежити не страшатся, боязнью грядущих бедствий не терзаются, надеждой будущих благ не обольщаются. Говоря короче, не тяготят их тысячи забот, которыми полна наша жизнь. Не стыдятся они, не тщеславятся, не завидуют, никого не любят и не уважают. Если сделают они еще один шаг в сторону скот-

ского бессмыслия, то, по мнению богословов, даже теряют способность грешить. Взвесь, глупейший мудрец, все заботы, которые денно и нощно гложут твою душу, собери воедино все невзгоды твоей жизни, и тогда ты уразумеешь, от скольких зол спасаю я моих дурачков. Добавь сюда, что они не только сами вечно радуются, резвятся, напевают, смеются, но, сверх сего, одним своим появлением и другим людям приносят веселье, игры, шутки и смех. Как будто посланы они милосердными богами разгонять все печали человеческой жизни. Отселе и проистекает, что в то время, как люди вообще отнюдь неодинаково относятся друг к другу, дурачков все любят, как близких родных, приглашают, ласкают, балуют, дарят, угощают, приходят к ним на помощь в беде. Им позволяют безнаказанно говорить и делать, что угодно. Никто не причинит им никакого худа, даже дикие звери их не трогают ради их простоты. Воистину они посвящены богам, особливо мне, и потому все содержат их в такой чести.

ГЛАВА XXXVI.

Дураки служат потехой величайшим государя, которые без них ни трапезовать, ни прогуливаться, ни даже единого часа прожить не могут. Своих юродивых государи любят, без всякого сомнения, больше, нежели хмурых мудрецов, которых, впрочем, тоже содержат у себя при дворе чести ради. Причина такого предпочтения столь же ясна, сколь мало удивительна: мудрецы привыкли докладывать государям обо

всем печальном; гордые своей ученостью, они порою готовы беречь нежные уши язвительной правдой. А глупые шуты доставляют монархам то, что им всего больше по нраву: забавные выходки, смех, кривлянье, веселье. Возьмите и то в расчет, что одни дураки бывают вполне правдивы. А что похвальнее правдивости? Я знаю, Алкивиад в диалоге Платона называет правду спутницей вина и детства. Но в действительности хвала эта по заслугам подобает мне. Этому порукою Эврипид¹, которому принадлежит следующее знаменитое изречение на мой счет: *«Глупый по-глупому и говорит»*. У дурачка что в сердце скрыто, то и на лице написано, то и с языка срывается. У мудрецов же, как сказал тот же Эврипид, два языка, из коих один говорит правду, а другой разглагольствует сообразно времени и обстоятельствам. Их дело — превращать черное в белое, из одних и тех же уст выпускать поочередно холод и жар, одно таить в груди, а другое изъявлять в речах. При всем видимом благополучии своим государи представляются мне несчастнейшими из смертных в том смысле, что никто не говорит им правды и вместо друзей имеют они только льстецов. Но, скажут мне, царские уши не выносят правды; по этой причине и убегают государи от мудрецов, ибо опасаются, как бы не отыскался среди них человек свободный, который посмеет говорить вещи более правдивые, нежели приятные. Это, положим, верно: ненавистна истина царям. Но то и удивительно в моих дурачках, что от них не только правда, но явные даже укоры выслушиваются с приятностью. Пусть обронит неосто-



рожное слово мудрец; головой своей он заплатит за это. А у глупого шута в устах те же самые речи вызывают только веселье. Истине самой по себе свойственна неотразимая притягательная сила, если только не применяется к ней

ничего обидного. Лишь одним дуракам даровали боги умение говорить правду, никого не оскорбляя. По приблизительно сходным причинам женщины любят мужчин этого сорта, ибо они больше других склонны к веселью и всякому вздору. А сверх того, что бы ни вышло у женщины с дураком, хотя бы самое последнее дело, его легко объяснить, как игру и шутку, ибо неистощим на выдумки этот пол, когда надо бывает скрыть свои шашни.

ГЛАВА ХХХVII

Но возвращаюсь снова к благополучию дураков. Прожив с великой приятностью жизнь, не отравленную страхом и предчувствием смерти, они переселяются прямо в Поля Елисейские, дабы забавлять там своими шутками скучающие души праведных. Сравним теперь жребий какого угодно мудреца с участью глупого шута. Вообразите, ради пущей противоположности, человека,

который все детство и юность свою провел в усвоении наук, который потратил лучшую часть жизни в непрерывных бдениях, заботах, трудах, а в прочие годы не вкушал никаких наслаждений, неизменно бережливый, бедный, печальный, хмурый, к самому себе взыскательный и суровый, другим тягостный и ненавистный, бледнолицый, тощий, хилый, подслеповатый, преждевременно состарившийся и поседевший, до срока расстающийся с жизнью. Впрочем, не все ли равно, когда он умрет? Ведь он и не жил вовсе. Вот вам прообраз совершенного мудреца.

ГЛАВА XXXVIII.

Почему следует предпочитать безумие.

Но тут снова заквакали мне в уши *стоические лягушки*. «Ничего, — говорят они, — нет столь жалкого, как безумие, а величайшая глупость соседствует с безумием. Вернее сказать, она-то и есть настоящее безумие. Что значит безумствовать, если не заблуждаться во всех своих помыслах?» Но сами мудрецы эти заблуждаются от начала и до конца своего пути. Разобьем-ка, при помощи муз, и этот их силлогизм.

Подобно тому, как у Платона Сократ рассекает Венеру на две части и из одного Купидона делает двух¹, так и этим диалектикам не мешает отличать безумие от безумия, если только они сами желают казаться в здравом уме. Отнюдь не всякое безумие губительно. Иначе не сказал бы Гораций:

Приятно безумье меня обольщает.²

Платон не поименовал бы неистовства поэтов, пророков и влюбленных в числе наивысших жизненных благ и прорицательница не нарекла бы безумным подвиг Энея ³. Воистину, безумие бывает двойкого рода: иногда оно посылается из подземного царства жестокими мстительницами, которые, вселяя в нашу грудь ядовитых змей, воспаляют ее то воинственным пылом, то неуголимою жаждою золота, то недозволенной и постыдной любовью, то страстью к убийству, кривосмешению, святотатству и другим подобным злодействам или преследуют преступную душу, устрашая ее фуриями и грозными факелами. Но есть и другое, весьма отличное от этого, безумие, исходящее от меня и для всех отрадное. Оно постигает человека каждый раз, когда какое-либо приятное заблуждение ума освобождает душу от мучительных забот и одновременно как бы обволакивает ее наслаждением. Подобная ошибка, сама по себе, есть наилучший дар богов, и именно о ней мечтал Цицерон, когда писал к Аттику ⁴, что желает не сознавать окружающего его множества бедствий. Нечто подобное пережил и тот аргивянин, который в припадке сумасшествия целые дни просиживал в театре один-одинешенек, смеясь, рукоплещая, радуясь, как будто присутствуя при исполнении восхитительной трагедии, тогда как в действительности в то время не было никаких представлений. Во всех остальных житейских делах он вел себя вполне пристойно:

Был ласков с друзьями, супругу лелеял, рабов не
тиранил,

Бури в стакане воды поднимать не любил, как
и должно.

Но когда родственники успели победить болезнь лекарствами и он пришел в себя, то немедленно стал жаловаться:

Заботою вашей, друзья, не спасли вы меня, а убили,
Счастье я вмиг потерял, лишь покинуло ум заблужденье⁵.

И правильно: не он, а они более нуждались в лечении, ибо иначе не пришло бы им в голову изгонять при помощи целебных снадобий такое блаженное и приятное безумие, словно болезнь.

Но мы до сих пор еще не установили, что следует называть безумием — обман чувств или ошибку ума. Ведь ежели человеку близорукому мул представится ослом, то это еще не помешательство; ежели кто сочтет жалкие вирши превосходнейшими стихами, то он еще не сумасшедший. Настоящим помешанным можно считать лишь того, кому изменяют не одни внешние чувства, но и способность суждения. Так, например, ежели кто, заслыша рев осла, каждый раз будет утверждать, что слышит упоительную музыку, или ежели человек, рожденный в подлости и нищете, возомнит себя богатым и могущественным, словно Крез, царь Лидийский. Этот род безумия, обычно соединяющийся с веселостью, весьма приятен и тому, кто им одержим, и тому, кто наблюдает его со стороны, сам оставаясь в полном душевном здравии. Такое безумие распространено гораздо шире, нежели принято думать. Сплошь да рядом два помешанных смеются друг над другом к обоюдному удо-

вольствию. Нередко даже увидите, как тот, чье безумие сильнее, смеется гораздо громче того, в ком еще сохранился остаток здравомыслия.

ГЛАВА ХХХІХ.

Безумие супругов, охотников, строителей и шроков.

По моему глупому суждению, всех счастливее тот, кто всех больше сумасшествует, лишь бы он был подвержен тому виду помешательства, который мне свойственен и который встречается столь часто, что среди всего великого множества смертных вряд ли найдется хотя бы один, который вечно оставался бы мудрым и не страдал каким-нибудь видом безумия. Ежели кто, видя тыкву, принимает ее за свою жену, то его называют помешанным, поскольку такие случаи редки. Но если он, имея супругу, всем доступную, в счастливом неведении почитает ее вернее Пенелопы¹ и весьма тому радуется, его никто не назовет безумцем, ибо подобного рода мужей можно видеть повсюду. К этому сословию принадлежат и те, кто ради охоты на красного зверя позабывает обо всем на свете. Такие люди клянутся, будто испытывают несказуемое блаженство, слыша пенье рогов и тьяканье собак. Полагаю даже, что собачий кал пахнет для них киннамоном². Свежевать зверя—истинное для них наслаждение. Резать быков и баранов подобает простолюдину, но рассекать на части красного зверя не разрешается никому, опричь благородных. Да и они обязаны разрубать убитые туши, обнажив голову, склонив колена, действуя

нарочито для того предназначенным мечом, а не первым подвернувшимся под руку ножиком. Все здесь предусмотрено: телодвижения, чередование отсекаемых членов и прочее, совсем как в церковном обряде. А вокруг стоит безмолвная толпа и дивится, как будто глядит на какую-то новинку, а не на привычное, тысячу раз виденное зрелище. Ежели кому при этом перепадает кусочек



дичины, то ликует он так, словно его самого возвели в дворянство. Из этого усердного рас-
секанья и поеданья зверей происходит то, что люди сами превращаются чуть не в скотов, хотя мнят себя живущими по-царски.

Всего ближе к этому роду помешательства стоят неутомимые зодчие, без конца перестраивающие круглое здание в квадратное и квадратное—в круглое; этому занятию несть ни конца, ни предела, доколе строители наши, промотавшись в пух, не останутся без крова и даже без пищи. Что за беда? Ведь пожилы они зато несколько лет в полное свое удовольствие.

За ними следуют те, кто при помощи тайных наук тщится преобразовать природу вещей и отыскивает пятую стихию³ на морях и на суше. И так обольщает их сладкая надежда, что не жалеют они ни трудов, ни издержек, с удивительным остроумием изобретают постоянно что-нибудь новое, обманывают и морочат себя приятнейшим образом, доколе, лишившись всего, не имеют уже более денег даже на починку алхимической вечи. Это, однако, не мешает им по-прежнему видеть сладкие сны и соблазнять других людей тем же блаженством. Когда же покидает их наконец всякая надежда, то они утешаются вдосталь известным изречением:

К великим делам и стременье почтенно бывает⁴.

При этом они жалуются на кратковременность жизни, которой-де не хватило на осуществление исполинского замысла.

Не знаю, допустить ли также игроков в наше сообщество. Нет зрелища глупее и смешнее, нежели люди, до такой степени пристрастив-



шиеся к игре, что, лишь заслышат стук костей, сердце у них так и запрыгает. Другие, беспрестанно обольщаемые надеждой на выигрыш, натываются наконец со всем кораблем своим на скалу неудачи, не менее страш-

ную, нежели скалы Лаконские. Вынырнув нагишом, они обычно становятся плутами, причем, в силу странного предрассудка, готовы бывают надуть кого угодно, но только не своих прежних победителей. И старики, наполовину слепые, тоже играют, напялив на нос очки. У иного хирагрой так скрючило пальцы, что он вынужден нанимать за плату себе помощника, который мечет вместо него кости. Сладкая вещь игра, если только не переходит в неистовство, подвластное уже не мне, но фуриям.

ГЛАВА XL.

Суеверы.

Зато без всякого сравнения из нашей муки испечены того сорта люди, которые любят слушать и рассказывать о ложных знамениях и чудесах и не могут пресытиться повествованиями о призраках, лемурах, ларвах¹, выходцах с того света и тому подобных диковинках. И чем более



расходятся с истиной эти небылицы, тем охотнее им верят, с тем большим удовольствием под-

ставляют им свои уши. Не для одного препровождения времени и от скуки рассказываются эти басни: от них и выгода иногда перепадает, особенно священникам и площадным краснобаям. Здесь и тех поименовать должно, кто внушил себе глупое, но приятное убеждение, будто, стоит ему поглядеть на деревянного или на иконе написанного Полифема-Христофора ², и не постигнет его в тот день никакая беда. Иной верит, что, прочитав известную некую молитву перед статуей св. Варвары, он воротится жив и невредим из битвы; другой убежден, что, отправляясь в известные дни на поклонение к св. Эразму ³, он в скорости сделается богачом. В лице св. Георгия люди эти создали себе нового Ипполита ⁴ или Геракла, на его коня, благоговейно украшенного драгоценной попоной с кистями, они готовы молиться, а его шишаком клянутся даже короли. Что же сказать о тех, которые, искупив свои грехи пожертвованием на церковь, безмятежно ликуют и измеряют срок своего пребывания в чистилище без малейшей ошибки веками, годами, месяцами, днями, часами, словно при помощи клепсидры ⁵ или математической таблицы. Что сказать далее о тех, которые верят в колдовские знаменья и наговоры, выдуманные каким-нибудь благочестивым обманщиком для забавы или ради собственной выгоды, и тешат себя надеждами на богатство, почести, наслаждения, избыток во всем, вечно цветущее здорovie, долгую жизнь, бодрую старость и, наконец, место в царствии небесном поближе к самому Христу. Впрочем, попасть туда они рассчитывают возможно позже. Когда, мол, пресытятся

всеми наслаждениями здешней жизни, тогда и променяют ее на райское блаженство. Иной купец, воин или судья, уделив единый грошик из всего им награбленного, верит, что сразу очистил тем самым смрадный поток своей жизни. Все ложные клятвы, грязные похоти, кутежи,



драки, убийства, обманы, коварства, измены он считает выкупленными словно по договору, так что, ежели угодно, разрешается начинать сызнова весь порочный круг. Можно ли быть глупее, т. е. счастливее тех, кто, читая ежедневно стишки семи священных псалмов, сулит себе за то вечное блаженство? Полагают, что названные магические стишки указал св. Бернарду ⁶ некий демон, очень осведомленный, без

всякого сомнения, но вместе с тем не слишком хитрый, поскольку дал поймать себя впросак. Все это столь глупо, что я сама почти готова устыдиться. И, однако, этому верят не только грубые мужики, но и учителя веры. Сюда же принадлежит и склонность некоторых областей считать себя находящимися под покровительством особого святого, из коих каждого чувствуют особливymi обрядами. Один исцеляет от зубной боли, другой искусно помогает роженицам, третий возвращает украденные вещи, этот спасает при кораблекрушении, тот охраняет стада и т. д. в том же роде. Перечислять всех подряд было бы слишком долго. Существуют также святые, оказывающие помощь во всех случаях жизни. Такова в особенности богородица-дева, которую простой народ чтит даже более, чем ее сына.

ГЛАВА ХІІ.

Но люди просят ли у всех этих святых чего-нибудь, не имеющего отношения к глупости? Взгляните на благодарственные приношения, которыми стены храмов украшены вплоть до кровли. Увидите ли вы среди них хоть одно, пожертвованное за избавление от глупости, за то, что приноситель стал чуть-чуть умнее бревна? Один тонул, но выплыл. Другой был ранен врагом, но выжил. Третий удрал столь же отважно, сколь счастливо, с поля битвы, в то время, как другие продолжали сражаться. Четвертый был приведен под виселицу, но успел благополучно сорваться с петли при помощи некоего святого,

покровителя воров, и продолжает с успехом облегчать богачей, обремененных своими деньгами. Пятый бежал, подкопав тюрьму. Шестой, к негодованию своего врача, исцелился от лихорадки. Седьмой хлебнул яду, но не умер, а только прочистил себе желудок на горе своей супруге, которая понесла даром труды и расходы. У восьмого опрокинулась повозка, но кони вернулись домой невредимые. На девятого обрушилась кровля, но он остался цел. Десятый счастливо спасся от разъяренного мужа. Решительно никто не благодарит за избавление от глупости. Так сладко бывает ни о чем не думать, что от всего откажутся люди, только не от Мории. Но зачем пускаться в это море суеверий?

Если б имела я сто языков и железное горло,
То и тогда б не могла дураков всю породу
исчислить

И описать до конца многовидные глупости формы¹.

Вся жизнь христиан до краев переполнена безумствами этого рода. Священнослужители не только терпят их, но и поощряют, ибо знают, как это увеличивает их доходы. Теперь представьте, что вдруг появляется среди нас противный некий мудрец и начинает проповедывать: «Ты не погибнешь, ежели станешь жить праведно, грехи твои простятся тебе, ежели к пожертвованной лепте ты присовокупишь ненависть к злым твоим делам, слезы, бдения, молитвы, посты, а главное — переменишь всю твою жизнь. Святой этот будет тебе покровительствовать, ежели ты решишься подражать ему».

Если бы, говорю я, подобный мудрец принялся толковать таким манером, сами можете

себе представить, в какую смуту вверг бы он людские души, лишившиеся прежней твердой опоры.

К нашему сообществу принадлежат и те, кто еще при жизни усердно заботится о собственных похоронах, подробно указывает, сколько факелов, сколько провожатых, сколько певчих и сколько наемных плакальщиков должны сопровождать его тело, как будто он сам сможет любоваться на это зрелище или вынужден будет стыдиться, ежели труп его не будет погребен с надлежащей пышностью. Эти люди хлопочут так, как будто их избрали эдилами² для устройства народных игрищ и угощения.

ГЛАВА XLII.

Люди, тщеславящиеся благородством своего происхождения.



Как ни тороплюсь я, не могу, однако, обойти молчанием тех, которые хоть и не отличаются ничем от последнего прохвоста, однако, кичатся благородством своего происхождения. Один ведет свой род от Энея, другой—от Брута, третий—от Артура¹.

Повсюду выставляют они скульптурные и живописные изображения своих предков, исчисляют прадедов и пращуров, вспоминают старинные фамильные прозвища, хотя сами недалеко ушли от бессловесных истуканов. Это, впрочем, не мешает им чувствовать себя как нельзя лучше при помощи милой Филавтии. Есть и такие дураки, которые готовы приравнять этих родовитых скотов к богам.



Зачем, впрочем, говорю я о тщеславных глупцах того или иного сорта, когда Филавтия чудеснейшим образом повсюду создает множество счастливых? Иной уродливее обезьяны, а самому себе кажется Ниреем. Другой, начертив кое-как при помощи циркуля три кривых линии, мнит себя Эвклидом². Этот в музыке — что осел, играющий на лире, и поет не лучше петуха, оседлавшего курицу, а полагает себя вторым Гермогеном³. Есть, впрочем, еще один, без всякого сомнения приятнейший род помешательства, когда господа тщеславятся дарованиями своих слуг, как бы своими собственными. Таков, например, был трижды счастливый богач, описанный Сенекой. Желая рассказать забавную историю, он имел у себя под рукою рабов, подсказывавших ему имена собственные, и хотя

был так хил и бессилен, что едва душа держалась, не боялся участвовать в кулачных боях, довольный тем, что имеет много здоровенных домашних слуг.

Стоит ли поминать здесь служителей свободных искусств? Им всем так близка Филавтия, что иной скорее откажется от отеческого достоинства, нежели признает себя лишенным таланта. Таковы в особенности актеры, певцы, ораторы и поэты, из коих, кто невежественнее других, тот и нахальнее в своем самомнении, тот громче хвастается и больше пыжится. Но по губам и салат: чем бездарней такой человек, тем больше у него почитателей, ибо значительное большинство людей, как уже сказано, заражено глупостью. Невежда и сам собою доволен, и другие им восхищаются, а кто стремится к истинной учености, добываемой великими трудами, бывает стыдлив и застенчив и ценится лишь немногими.

ГЛАВА XLIII.

Филавтия отдельных смертных, народов и городов.

Природа не только одарила каждого отдельного смертного личным тщеславием. Она постаралась снабдить народы и даже города некой общей Филавтией. Поэтому британцы заявляют исключительное притязание на телесную красоту, музыкальное искусство и хороший стол. Шотландцы утешаются своим благородством, диалектическими тонкостями и родством с королями. Французы только себе приписывают приятную

обходительность. Парижане хвалятся, будто они превыше всех стоят в науке богословия¹. Итальянцы присвоили первенство в изящной литературе и красноречии и так сладостно обольщаются, что из всех смертных единственно лишь себя не почитают варварами. Этой блаженной мыслью более всех проникнуты римляне, которым до-



селе снятся приятные сны о древнем Риме. Венецианцы счастливы сознанием своего знатного происхождения. Греки мнят себя творцами всех наук и приписывают себе достохвальные деяния древних героев. Турки, скопище настоящих варваров, притязают на обладание единственно истинной религией и смеются над суеверием христиан. Но всего слаще самооболь-

щение иудеев, которые доселе упорно ждут своего Мессию и цепко держатся за Моисея. Испанцы никому несогласны уступить по части воинской славы. Немцы гордятся телесным дородством и знанием магии.

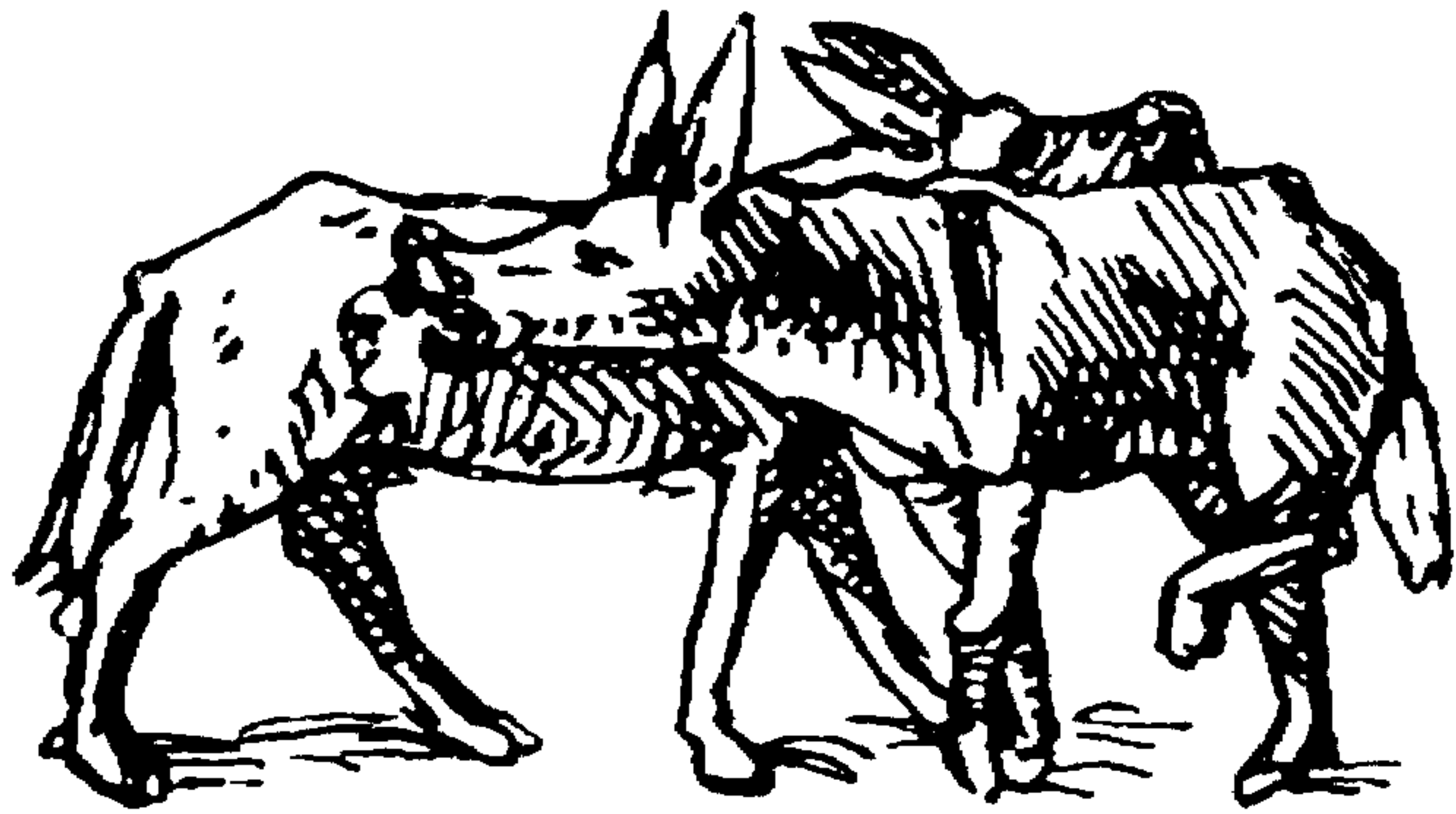


ГЛАВА XLIV.

Сестра Филавтии—Лесть.

Не стану пускаться в дальнейшие подробности. Полагаю, что вам и без того должно быть ясно, сколь великую отраду доставляет и отдельным смертным, и всему человечеству вообще моя Филавтия, с которой весьма схожа ее сестра — Лесть. В самом деле, Филавтия есть не что иное, как самообольщение. Лести другому, и это будет *Колакия*. В наши дни лесть почитается чем-то постыдным. Но так судят только те люди, для которых названия вещей имеют больше значения, нежели самые вещи. Они полагают, что лесть несовместима с верностью. Но они заблуждаются: даже животные служат примером обратного. Кто льстивее пса? И кто его вернее? Существует ли животное ласковее белки, и кто так легко, как она, становится другом человека? Или, быть может, для совместной жизни с людьми более пригодны суровые львы, свирепые тигры, неистовые леопарды? Есть, правда, зловредный вид лести, при помощи которого коварные насмешники доводят несчастных до гибели. Но моя Колакия рождается от добродушия и простосердечия и более сходствует с добродетелью, нежели суровость и угрюмство, столь несносные и докучливые, по слову Горация. Такая лесть ободряет упавших духом, увеселяет печальных, возбуждает расслабленных, будит оцепенелых, больных исцеляет, свирепых умягчает, любящих сближает, сближенных удерживает в единении. Она подстрекает отроков к усвоению наук, ласкает старцев, под видом похвал и без обиды увеще-

вает и научает госуда-
рей. В общем исклю-
чительно благодаря
ей каждый становит-
ся приятнее и милее
самому себе, а ведь в
этом наивысшее сча-



стье. Поглядите, как услужливо два мула поче-
сывают друг другу спины. Не в этом ли со-
стоит главная задача красноречия, еще в боль-
шей степени медицины и всего более поэзии?
Лесть есть мед и приправа во всяком общении
между людьми.

ГЛАВА XLV.

Счастье зависит от нашего мнения о вещах.

Печально бывает заблуждаться, говорят мне.
Но ведь жить без заблуждений еще печальнее.
Весьма неразумны те, которые полагают, будто
в самых вещах заключается людское счастье.
Счастье зависит от нашего мнения о вещах.
В жизни человеческой все так неясно и так
сложно, что здесь ничего нельзя знать навер-
ное, как справедливо утверждают мои акаде-
мики¹, наименее притязательные среди филосо-
фов. А ежели знание порой и возможно, то оно
нередко уничтожает всякую приятность жизни.
Так уж устроена человеческая душа, что более
прельщается обманами, нежели истиною. Ежели
кто потребует от меня наглядных и убедитель-
ных примеров этого, я посоветую ему посетить
храм или любое иное общественное собрание.
Когда речь ведется о предметах важных, все

спят, зевают и томятся. Но лишь только оратор² (я обмолвилась, я хотела сказать — оратор) позволил себе рассказать какую-нибудь дурацкую, смешную историйку, все оживляется, подбадриваются, наостряют уши. Равным образом, чем легендарнее и поэтичнее святой, например, Георгий, Христофор или Варвара, тем усерднее ему поклоняются, не то, что Петру, Павлу или даже самому Христу. Впрочем, здесь не место говорить об этом. Итак, счастье зависит не от самых вещей, но от того мнения, которое мы о них составили. К вещам доступ труден, даже к легчайшим, как, например, к грамматике, а мнения усваиваются без всякого труда и их одних с избытком хватает для достижения счастья. Поглядите-ка на этого обжору, уписывающего гнилую солонину; иной запаха ее не стерпел бы, а ему она представляется амврозией. Чего нехватает ему для полного блаженства? И обратно, ежели кого тошнит от осетра, то какое ему в том удовольствии? Ежели супруга до крайности безобразна, но мужу своему кажется достойной соперницей Венеры, то не все ли это равно, как если бы она была воистину красавицей? Ежели кто, любясь на картину, написанную негодным маляром, дивится ей, как творению Зевксиса или Апеллеса³, не блаженнее ли он того, кто, купив за дорогую цену доски этих мастеров, быть может гораздо меньше будет наслаждаться их созерцанием. Знаю я одного человека, моего соименника⁴, который подарил своей молодой жене поддельные дорогие камни, но при этом уверил ее, будто они настоящие, подлинные, воистину единственные в своем роде, так что даже

цены не имеют. Спрашивается: не все ли равно было этой бабенке—тешить глаза свои и душу дешевыми стекляшками или хранить в ларце под замком действительно драгоценное сокровище? А супруг между тем и расходов избег, и жене своей обманутой угодил не меньше, чем если бы подарил ей богатый подарок. Что сказать о тех, которые, по примеру узников Платоновой пещеры⁵, дивятся теням и подобиям вещей и бывают ими утешены? Не счастливее ли они того мудреца, который, выйдя из пещеры, созерцает самые вещи? Лукианов Микил⁶, видевший себя во сне богачом, не пожелал бы себе иного блаженства, если б дано ему было вечно грезить. Итак, либо нет никакой разницы между мудрецами и дураками, либо положение дураков не в пример выгоднее. Во-первых, их счастье, покоящееся на самообмане, достается им гораздо дешевле, а во-вторых, они могут наслаждаться заодно с большинством других людей. А никакие житейские блага не будут нам приятны, ежели мы пользуемся ими одни, без товарищей.



ГЛАВА XLVI.

*Глупость на всех смертных равно изливает свои
благоденния.*

Кому неизвестно, что если существуют на свете мудрецы, то лишь в самом малом числе. За столько веков греки насчитали их всего семь¹, да и то, клянусь Гераклом, ежели перетряхнуть хорошенько этих семерых, то — помереть мне на этом самом месте — не найдется среди них даже половины настоящего мудреца, а пожалуй, так и одной трети. Между многими другими похвалами Вакха особливо прославляют за то, что он смывает с души всякие заботы. Но это длится лишь самое малое время: как проспнешься с похмелья, тотчас, словно на четверке, подкатывают к тебе тяжелые думы. Сколь полнее и прочнее моя благоденния, ибо я вечным



опьянением ублажаю душу, без всяких притом хлопот и издержек. сверх того, я наделяю моими дарами всех смертных без изъятия, тогда как щедроты прочих богов достаются то одним, то другим. далеко не во всех землях рождается благородное, мягкое, не поддельное вино, прогоняющее заботы и вливающее в сердце надежду. Редко кому достается в удел — красота — дар Ве-

неры, еще реже красноречие — дар Меркурия. Лишь немногим удалось обогатиться при помощи Геракла. Не каждому дает власть Гомеров Юпитер. Марс сплошь да рядом отказывает в своем благоволении обоим сражающимся войнствам. Сколь многие печально обращаются вспять от треножника Аполлонова. Сын Сатурнов часто мечет молнии на землю, а Феб посылает чуму своими стрелами. Нептун больше губит людей, нежели спасает. Лишь мимоходом упомяну здесь о Вейовах, Плутонах, Атах, Фебрах² и прочих не богах, а палачах. Единственно я, Глупость, всех равно жалуя моей благостыней.

ГЛАВА XLVII.

Снисходительность Глупости.

Я не требую даров и обетов; не гневаюсь и не жду искупительных приношений, ежели в обряд вкралась какая погрешность. Я не ставлю вверх дном небо и землю, ежели кто, пригласив прочих богов, меня оставит дома и не даст обонять благовоние жертв. А другие боги отличаются столь великою строгостью в этих вещах, что лучше и безопаснее пренебрегать ими, нежели служить им. Таковы же и многие люди, столь требовательные и чувствительные к обидам, что лучше иметь их чужими себе, нежели близкими. Но, скажут мне, ведь никто не приносит жертв Глупости, никто не воздвигает ей храмов. Я уже говорила, что дивлюсь подобной неблагодарности. Впрочем, по снисходительности моей я смотрю на это добродушно, да, ежели

говорить правду, и не желаю вовсе, чтоб мне служили, как прочим богам. Чего ради стану я требовать ладана или муки, козленка или бора, когда смертные всякого рода и звания и без того правят мой обряд при полном одобрении богословов? Стану ли я завидовать Диане, которую потчуют человеческой кровью? Я полагаю, что мне служат с великим благоговением, ибо всегда и всюду носят меня в своих сердцах и поражают мне в жизни. Такого рода служение святым не часто встретишь и среди христиан. Какое множество людей возжигает свечи богородице даже среди бела дня, когда в том нет



никакой нужды. Но сколь малое число стремится подражать ей простотою жизни, кротостью и любовью ко всему небесному. А ведь именно такое служение есть приятнейшее для небожителей. Зачем желать мне храмов, когда весь круг земной — мой храм, прекраснее которого ничего быть не может. Таинства мои не останутся без причастников, доколе существуют люди. Я не так глупа, чтобы домогаться каменных и живописных икон, которые могли бы даже повредить чистоте моего культа, ибо

дураки и тупицы сплошь да рядом чтут иконы усерднее, чем изображенных на них святых. Ведь видим же мы иногда, как боги изгоняются своими земными наместниками. Я считаю, что мне воздвигнуто столько статуй, сколько есть на свете людей, воспроизводящих в живом мой образ, хотя бы и вопреки своей воле. Итак, нечего мне завидовать прочим богам, ежели иные из них чтутся в том или ином уголке земли в указные дни, например Феб на Родосе, Венера на Кипре, Юнона в Аргосе, Минерва в Афинах, Юпитер на Олимпе, Нептун в Таренте, Приап в Лампсаке, ибо мне вся земля усердно и повседневно приносит несравненно лучшие жертвы.

ГЛАВА XLVIII.

Различные виды и формы Глупости.

Иному из вас, быть может, покажется, что в словах моих больше дерзости, нежели правды. Но приглядимся немного к жизни людской и тотчас увидим, сколь многие мне обязаны и как усердно чтут меня великие и малые мира сего. Я не стану разбирать здесь одно за другим все состояния и сословия: это было бы слишком долго. Я буду говорить лишь о тех, кто поважней; об остальных вы сами рассудите. В самом деле, к чему заниматься чернью, которая без всякого спора вся целиком мне подвластна? Люди простого звания сообщают глупости столь разнообразные формы, они ежедневно изобретают по этой части такие новизны, что для посмеяния их нехватило бы и тысячи Демо-

критов, ибо самим Демокритам этим понадобился бы новый Демокрит. Вы не поверите, какое развлечение, какую потеху доставляют ежедневно людишки богам, которые привыкли посвящать трезвые предполуденные часы выслушиванию людских споров и обетов. Но когда, хлебнув нектара, они теряют охоту к предметам важным, то взбираются повыше на небо и оттуда глядят вниз, на людскую суматоху. Нет зрелища приятнее! Боже бессмертный, что за представление эта шутливая возня глупцов! Я сама люблю посидеть здесь в одном ряду с богами поэзии. Вот человек, который сохнет по какой-нибудь бабенке, и тем сильнее влюбляется, чем меньше бывает любим. Вот другой женится на приданом, а не на женщине. Один посылает на блуд собственную невесту; другой ревниво, как Аргус, следит за нею. Этот, будучи в трауре, говорит и делает всевозможные глупости, например, призывает наемных лицедеев, чтобы они разыграли в виде комедии его печаль.

Этот плачет над могилой своей мачехи. Этот пихает себе в чрево все, что только удастся раздобыть, хотя, быть может, вскоре ему придется голодать. Этот ничего не знает приятнее сна и досуга. Есть и такие, которые вечно шумят и волнуются по поводу чужих дел, своими же пренебрегают. Иной—весь в долгах, накануне разорения, а мнит себя богатеem благодаря чужим деньгам. Для другого нет высшего блаженства, как жить всю жизнь в нищете, лишь бы наследнику досталось побольше. Один ради малой и неверной прибыли рыщет по морю, вверяя волнам и ветрам свою жизнь, которую

нельзя купить ни за какие деньги. Другой предпочитает искать богатств на войне, вместо того, чтобы наслаждаться дома безопасным досугом. Найдутся и такие, которые удобнейший путь к обогащению видят в том, чтобы подольститься к одиноким старичкам, в то время как другие стремятся к той же цели, привлекая к себе любовь богатых старушек. Какая потеха для богов-зрителей, когда и первые, и вторые бывают одурачены теми, кого хотели надуть. Но глупее и гаже всех купецкая порода, ибо купцы ставят себе самую гнусную цель в жизни и достигают ее наигнуснейшими средствами: вечно лгут, божатся, воруют, жульничают, надувают и при всем том мнят себя первыми людьми в мире, потому только, что пальцы их украшены золотыми перстнями. Вертятся вокруг них льстивые братцы-монахи, которые ими восхищаются, громко именуют их *высокопепенными* в надежде получить малую толику от неправедно нажитых богатств. Зато в другом месте увидишь подчас таких пифагорейцев¹, которым все блага земные представляются до того общими, что они все, лежащее без охраны, тащат с легким сердцем, как свое наследие. Есть люди, богатые надеждами, которые услаждаются прият-



ными снами и тем бывают вполне счастливы. Многие разыгрывают богачей на рынке, а дома здорово постытятся. Один расточает все, что имеет, другой приумножает правдами и неправдами. Этот идет всенародных почестей, тот сидит



весь век у себя за печкой. Множество людей ведет нескончаемые тяжбы, обогащая медлителя-судью и его пособника-адвоката. Один стремится к новизне во всем, другой лелеет честолюбивые замыслы. Иной отправляется в Иерусалим, Рим или Сант-Яго², где нет у него никакого дела, а дома покидает жену и ребят. В общем, ежели поглядеть с луны по примеру Мениппа³ на людскую суматоху, то можно подумать, будто

видишь стаю мух или комаров, дерущихся, воюющих, строящих козни, грабящих, обманывающих, развратничающих, рождающихся, падающих, умирающих. Нельзя и представить себе, сколько движения, сколько трагедий в жизни этих недолговечных тварей, ибо сплошь да рядом военная буря или чума губит и уничтожает их целыми тысячами.

ГЛАВА XLIX.

Грамматика.

Но я сама была бы всех глупее и вполне достойна того, чтобы Демокрит хохотал надо мной во все горло, если бы вздумала исчислять здесь все разновидности глупости и безумства, существующие в народе. Обращаюсь поэтому к тем, которые почитаются за мудрецов, и держат, как это говорится, златую ветвь в своих руках. Среди них первое место занимают грамматика, порода людей, которой несчастнее, злополучнее и ненавистнее богам не было бы на свете, если бы я в своем милосердии не скрашивала их тягостного ремесла неким сладким безумием. Они обречены не пяти проклятиям, о которых гласит греческая эпиграмма, но воистину шестистам, ибо вечно они голодны и грязны и проводят всю жизнь свою в училищах, представляющих собой некую помесь толчейной мельницы с застенком для пыток. Окруженные стадом мальчишек, они преждевременно стареются от непосильных трудов, глохнут от шума, чахнут от нечистоты и смрада и, однако, по моей

милости мнят себя первыми среди смертных ¹. Чрезвычайно собой довольные, они устрашают робкую толпу ребятишек своим грозным голосом и свирепым видом. Они полосуют бедняжек ферулами, розгами, плетями и всячески нействуют по своему произволу, совсем как известный куманский осел ². Зато грязь представляется им чистотой, амараконский смрад ³—благовоением и собственное жалкое рабство—царственной властью, так что тиранства своего не отдали бы они даже в обмен на могущество Фалариса или Дионисия. Но особенно счастливы они сознанием своей необычайной учености. Они пичкают мальчуганов разной чушью, и, однако, боги великие, где тот Палемон или Донат ⁴, на которого они не глядели бы с презрением! При помощи какого-то неведомого колдовства они успевают сообщить глупым мальчишкам и отцам-идиотам то же высокое понятие о себе, какового сами придерживаются. Присовокупите сюда удовольствие разыскать иногда на полуистлевшей хартии имя матери Анхиза ⁵ или какое-нибудь полузабытое словечко, например, *bubsegua*, *bovipator*, *manticulator* ⁶, или выкопать где-нибудь обломок древнего камня с полуистертыми литерами. О, Юпитер! Какой поднимается тогда шум, какое ликованье, какие хвалы! Можно подумать, что человек завоевал Африку или овладел Вавилоном. Иной, читая повсюду свои холодные, вялые вирши, вдруг находит дураков, готовых восхищаться. После этого он верит, будто душа самого Вергилия Марона вселилась в его грудь. Но забавнее всего бывает слушать, как они на началах взаимности прославляют

друг друга, дивятся
ученым заслугам и
почесывают один
другому спины. За-
то случись посто-
роннему человеку
ошибиться в их
присутствии, хотя
бы в самом пустяч-
ном словечке,—Ге-
ракл великий!—ка-
кая поднимается
тотчас трагедия,
какие споры, какая
брань, какие оскор-
бления! Пусть воз-
ненавидят меня все
грамматики, ежели
я лгу. Знала я
одного *полигистора*,



эллиниста, латиниста, математика, философа, ме-
дика, настоящего *царя всех наук*, человека уже лет
шестидесяти, который, позабыв все на свете,
лет двадцать корпит и мучается над граммати-
кой, утешая себя мыслью, что доведется ему
дожить до того дня, когда он научится безоши-
бочно различать все восемь частей речи, чего,
как известно, не мог вполне достигнуть никто
из греков и латинян. Как будто стоит заводить
войну, ежели кто примет иной раз союз за на-
речие! Как известно, грамматик у нас столько
же, сколько грамматиков, и даже больше, ибо
один мой милый Альд⁷ издал их целых пять.
И вот старик не пропускает ни одной грамма-

тики, даже самой варварской и нелепой, не изучив и не прощупав ее досконально. Среди этих несносных трудов он жалко трусит, как бы не похитил у него кто вожделенную славу, как бы не пропали усилия стольких лет понапрасну. Как назовете вы это: безумием или глупостью? Мне все равно, признайтесь только, что по моей милости жалчайшая из тварей наслаждается таким блаженством, что не захочет поменяться своей участью даже с персидскими царями.

ГЛАВА I.

Поэты.

Значительно менее обязаны мне поэты, хотя по свойству своего ремесла целиком принадлежат к моей партии. Ведь поэты—вольный народ, все дело которого в том и состоит, чтобы ласкать уши глупцов разной чушью и нелепыми баснями. И, однако, весьма удивительно, что своим празднословием они не только сами надеются купить бессмертие и вживе уподобиться богам, но и другим то же обещают. Филавтия и Колакия водят дружбу с этим сословием более, чем с каким-либо другим, и вообще нет у меня других столь же искренних и верных поклонников. Далее следуют риторы, которые хотя и блудят иногда, заигрывая с философами, но все-таки подчинены мне, о чем свидетельствует и то обстоятельство, что они, не считая прочей чуши, так усердно и с такой подробностью описали, как подобает шутить. Не напрасно автор послания Герению

«Об искусстве речи»¹ — кто бы он там ни был — называет глупость одной из разновидностей шутки. У Квинтилиана², истинного царя всего этого сословия, также есть глава о смехе, более пространная, нежели Илиада. Ораторы столь высоко ценят глупость, что частенько при отсутствии доводов отыгрываются на смехе. А искусство вызывать хохот смешными словами несомненно подлежит ведению Глупости. Из той же муки испечены и те, кто стремится к бессмертной славе посредством издания книг. Все они очень многим мне обязаны, особливо же те, которые марают бумагу разной чушью, ибо кто пишет по-ученому и ждет приговора немногих знатоков, не опасаясь даже таких судей, как Персий и Лелий³, тот кажется мне более достойным сожаления, нежели зависти. Поглядите, как мучаются такие люди: прибавляют, изменяют, вычеркивают, переставляют, переделывают заново, показывают своим друзьям, затем печатают лет эдак через девять, все еще недовольные собственным трудом, и покупают ценой стольких бдений (а сон всего слаще), стольких жертв и стольких мук лишь ничтожную награду в виде одобрения нескольких тонких



ценителей. Прибавьте к этому расстроенное здоровье, увядшую телесную красоту, близорукость, а то и совершенную слепоту, бедность, зависть, воздержание от всех наслаждений, раннюю старость, преждевременную кончину и еще многое в том же роде. И наш мудролюб мнит себя вознагражденным за все эти тяготы, ежели похвалят его два-три таких же ученых слепца. Напротив, сколь счастлив сочинитель, послушный моим внушениям. Он не станет корпеть по ночам, он записывает все, что ему взбредет на ум, хотя бы даже собственные свои сны, зная заранее, что, чем больше будет вздорной чепухи в его писаниях, тем вернее угодит он большинству, т. е. всем дуракам и невеждам. Что ему за дело, ежели два-три ученых, случайно прочитавших его книгу, отнесутся к нему с презрением? Что значит голос немногих умных людей в этой огромной и шумной толпе? Но еще хитрее те, которые под видом своего издают чужое, присваивая себе славу чужих трудов, в той надежде, что ежели и уличат их когда-нибудь в литературном воровстве, то все же в течение некоторого времени они смогут пользоваться выгодами от своей проделки. Стоит посмотреть, с каким самодовольством они выступают, когда слышат похвалы себе и когда в толпе на них указывают пальцами — *это мол такой-то, знаменитость*, когда видят они свои книги в книжных лавках и читают на каждой странице свое имя, сопровождаемое двумя или тремя прозвищами, по большей части чужеземными или заимствованными из старинных книг. Так, один тщеславится именем Телемака, другой—

Стелена или Лаэрта, этот — Поликрата, тот — Тразимаха ⁴. С равным успехом иной мог бы назваться Хамелеоном, или Тыквой, либо обозначить свои книги по обычаю философов буквами альфа, бета и т. д. Но всего забавнее, когда глупцы начинают восхвалять глупцов, невежды—невежд, когда они взаимно прославляют друг друга в льстивых посланиях, стихах и панегириках. Один производит своего приятеля в Алкея ⁵, другой—в Каллимаха ⁶, этот возвышеннее Цицерона, тот ученее Платона. Иные ищут себе соперников, дабы соревнованием умножить собственную славу:

Замерев, расступилась толпа и с волнением ждет
состязанья ⁷,

пока бойцы, довольные своими успехами, не разойдутся с победоносным видом, каждый приписывая себе славу триумфа. Мудрецы смеются над этим, как над великой глупостью. Нет спора, это воистину глупо. Но зато, по моей милости, живут эти люди в свое удовольствие и не променяют мнимого своего торжества даже на Сципионовы триумфы ⁸. Впрочем, и сами ученые, которые так потешаются над чужой глупостью, мне премного обязаны, чего отрицать не посмеют, ежели не захотят прослыть чудовищами неблагодарности.

ГЛАВА LI.

Правоведы.

Между учеными законоведы притязают на первое место и отличаются наивысшим самодовольством. Они усердно катят Сизифов камень ¹,

не переводя дух ссылаются на сотни совсем не идущих к делу законов, громоздят глоссы на глоссы², толкования на толкования, дабы работа их казалась наитруднейшей из всех. Ибо, на их взгляд, чем больше труда, тем больше славы. К ним присовокупить должно также диалектиков и софистов, породу людей говорливую, словно медь Додонская³, и способную состязаться в болтовне с двумя десятками отборных баб. Впрочем, они были бы несравненно счастливее, если б словоохотливость не соединялась в них с чрезвычайной сварливостью. Они постоянно заводят друг с другом войну и в жару словопрений по большей части упускают из виду истину. И, однако, Филавтия делает их столь блаженными, что, заучив два-три силлогизма, они, не колеблясь, готовы вступить в бой с кем угодно по любому предмету. В упрямстве своем они непобедимы, если даже противопоставить им самого Стентора⁴.



гизма, они, не колеблясь, готовы вступить в бой с кем угодно по любому предмету. В упрямстве своем они непобедимы, если даже противопоставить им самого Стентора⁴.

ГЛАВА II.

Философы.

За ними следуют философы, уважаемые за длинную

бороду и широкий плащ. Эти себя одних полагают мудрыми, всех же прочих смертных мнят блуждающими во мраке. Сколь сладостно бредят они, воздвигая бесчисленные миры, вычисляя объем солнца, звезд, луны и орбит, как будто успели измерить их указательным пальцем и бечевкой; они толкуют о причинах молний, ветров, затмений и прочих необъяснимых явлений и никогда ни в чем не сомневаются, как будто они посвящены во все тайны природы и только-что воротились из совета богов. А между тем природа горделиво смеется над всеми их догадками, и нет в их науке ничего достоверного. Тому лучшее доказательство — их постоянные споры друг с другом. Ничего в действительности не зная, они тем не менее воображают себя всезнайками. Между тем они даже самих себя не в силах познать и часто не замечают по телесной близорукости или по рассеянности ямы и камни у себя под ногами. Это, однако, не мешает им проповедывать, будто они созерцают идеи, всеобщности, формы, отделенные от вещей, первичную материю, сущ-





ности, самости и тому подобные предметы, до такой степени тонкие, что сам Линкей, как я полагаю, не смог бы их заметить. Зато с каким презрением смотрят они на простаков, нагромождая один на другой треугольники, окружности, квадраты и другие математические чертежи, строя из них некое подобие лабиринта,

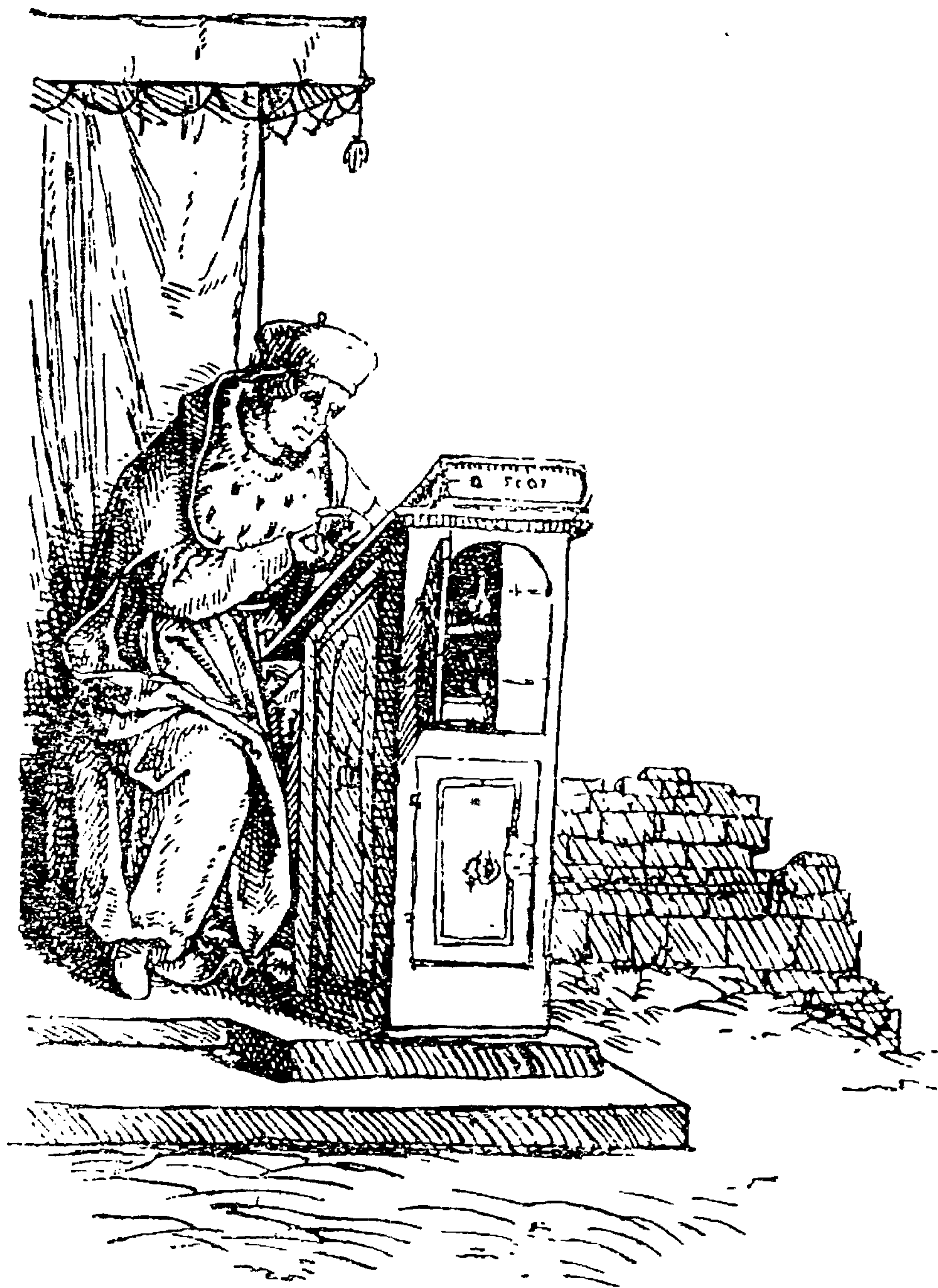
огражденного со всех сторон буквами, словно воинским строем, и напуская таким образом туману в глаза людям неопытным. Есть среди них и такие, которые предсказывают будущее по течению звезд, обещают чудеса, невозможные даже в магии, и на счастье свое находят людей, которые всему этому верят.

ГЛАВА LIII.

Богословы.

Что до богословов, то, быть может, лучше было бы обойти их здесь молчанием, не трогать *этого смрадного болота*, не прикасаться к этому ядовитому растению. Люди этой породы

весьма щекотливы и раздражительны. Того и гляди, набросятся они на меня сотней своих конклюдзий и потребуют отречения от моих



слов, а ежели я откажусь, вмиг объявят меня еретичкой. Они ведь привыкли страдать этими громами всякого, кого не взлюбят. Конечно, они неохотно признают мои благодеяния, однако и они мне немало обязаны. Обольщаемые Филавтией, они мнят себя обитающими на третьем

небе, а на прочих смертных глядят свысока, как на пресмыкающийся по земле скот. Окруженные, словно воинским строем, магистральными дефинициями, конклюдзиями, короллариями, доказуемыми и подразумеваемыми пропозициями¹, стали они нынче такие *увертливые*, что не сдержат их и Вулкановыми узами². Своими различениями и затейливо придуманными словечками они разрубают всякий узел быстрее, чем Тенедосской секирой³. По своему произволу они толкуют и объясняют сокровеннейшие тайны. Им известно, по какому плану создан и устроен мир, по каким каналам порча перво-родного греха распространяется на позднее потомство, какими способами, какой мерой и в какое время зачат был предвечный Христос в ложеснах девы, в каком смысле должно понимать пресуществление, совершающееся при евхаристии. Но это еще всем известные и избитые вопросы. Вот другие вопросы, достойные знаменитых и великих теологов. Они немедленно оживляются, едва речь пойдет о чем-нибудь в этом роде. В какой именно миг совершилось божественное рождение? Является ли сыновство Христа однократным или многократным? Возможно ли предположить и доказать, будто бог-отец возненавидел сына? Может ли бог превратиться в женщину, дьявола, осла, тыкву или камень? Если б он действительно превратился в тыкву, могла ли бы эта тыква проповедывать, творить чудеса, быть распятой? Что случилось бы, если бы св. Петр отслужил обедню в то время, когда тело Христово висело на кресте? Можно ли сказать, что Христос еще оставался тогда

человеком? Позволительно ли есть и пить после воскресения? Ибо эти господа заранее хотят обеспечить себя от голода и жажды на том свете. Существует бесчисленное множество других подобных *тонкостей*, еще более изощренных, о понятиях, отношениях, формах, сущностях и особливостях, которых никто не сможет различить простым глазом, ниже сам Линкей⁴, способный видеть в полной темноте. Прибавьте к этому так называемые *гномы*, до такой степени головоломные, что парадоксы стоиков могут показаться на ряду с ними пошлыми, общедоступными истинами. Так, например, одна из этих гном гласит, что зарезать тысячу человек не столь тяжкое преступление, как починить бедному башмак в воскресенье, и что лучше допустить гибель мира со всеми его потрохами, нежели произнести малейшую ложь. Все эти архикурацкие тонкости делаются еще глупее благодаря множеству направлений, существующих среди схоластиков, так что легче выбраться из лабиринта, чем из сетей реалистов, номина-



листов, фомистов, альбертистов, оккамистов, скотистов⁵ и прочих, ибо я называю здесь не все их секты, а только главные. Во всем этом столько учености и столько трудности, что, я полагаю, самим апостолам потребовалась бы помощь некоего иного, отнюдь не святого духа, если бы они вздумали вступить в спор обо всех этих предметах с нашими новыми богословами. Павел делами засвидетельствовал свою веру, но вместе с тем дал ей недостаточно ученое определение, сказав: «Вера есть уповаемых извещение, вещей обличение невидимых»⁶. Равным образом, преуспевая в милосердии, он не сумел диалектически расчленить и точно ограничить милосердие в XIII главе первого послания к Коринфянам. Конечно, апостолы совершали евхаристию, но если бы спросить их *de termino a quo et termino ad quem*⁷ о пресуществлении, о том, каким образом тело Христово может одновременно находиться в различных местах, об особенностях названного тела на небе, на кресте и в хлебе, освящаемом при богослужении; если далее спросить их о том, в какой именно момент совершается пресуществление, поскольку слова, его вызывающие, произносятся в течение некоторого промежутка времени, — то, я полагаю, апостолы вряд ли ответили бы с такой точностью и определенностью, с какой отвечают и предлагают свои различения скотиды⁸. Апостолы знали мать Иисуса. Но кто из них философски доказал по примеру наших теологов, что она должна быть свободна от Адамова греха?⁹ Петр получил ключи райские от того, кто не мог сделать недостойного выбора.

И, однако, я не знаю, уразумел ли бы Петр тонкое различие, каким образом можно держать в своих руках ключи от знания, не обладая самым знанием. Апостолы многих окрестили и, однако, ни разу не обмолвились ни единым словом о том, какова формальная, материальная, действующая и конечная причина крещения и каков его изгладимый или неизгладимый характер. Молились они так же, но молились в духе, следуя слову евангельскому: «Бог есть дух, и поклоняться ему должно в духе и истине»¹⁰. Им, повидимому, не было от-



крыто, что надлежит также молиться образку, начертанному углем на дощечке, как самому Христу, ежели только он представлен с двумя вытянутыми перстами, с неостриженными волосами и с тремя завитками на пряди, спускающейся с затылка. Да и кто мог бы постичь это, не просидев тридцать шесть лет над физикой и метафизикой Аристотеля и Дунса Скота? Надеялись и благодатью апостолы, но никогда не делали подобающего различия между благодатью благоданной и благодатью благодательной. Увещевали

они творить добрые дела, но не замечали разницы между просто добрым делом, добрым делом действенным и добрым делом деемым. Говорили они о христианской любви, но не отделяли любви внедренной от любви приобретенной,¹⁰ и не объясняли, является ли любовь акциденцией или субстанцией¹¹, вещью созданной или несозданной. Ненавидели апостолы грех, но — помереть мне на этом самом месте — ежели, необученные в духе скотистов, могли они дать научное определение того, что есть грех. Никто не убедит меня, будто Павел, превосходивший ученостью остальных апостолов, позволил бы себе столько раз осуждать состязания, прекословия, родословия, прочие, как он выражается, *логомахи*, будь он посвящен во все ухищрения диалектики. Здесь и то еще надо принять в расчет, что все словопрения того времени были очень грубы и мужиковаты сравнительно с более чем Хрисипповскими¹² тонкостями наших нынешних магистров богословия. Но поскольку названные магистры — люди весьма скромные, то, встречая у апостолов в писаниях что-либо нелепое или недостаточно ученое, они не осуждают этих мест, но сообщают им пристойное толкование. Они воздают должную честь древности писаний и имени апостольскому. Впрочем, клянусь Гераклом, весьма несправедливо было бы требовать от апостолов объяснения таких вещей, относительно которых ни единого даже слова не слышали они от своего учителя. Когда же подобные места попадаются у Златоуста¹³ Василия¹⁴ или Иеронима, то богословы наши ограничиваются тем, что приписывают на

полях: «Это не соблюдается». Ежели апостолы и отцы церкви умудрялись все-таки опровергать языческих философов, а также иудеев, столь упорных по природе своей, то достигали этого более чудесами и праведной жизнью, нежели силлогизмами, ибо никто из них не был способен уразуметь хотя бы одно «Кводлибетум»¹⁵ Скота.

А нынче какой язычник, какой еретик не покорится столь изощренным тонкостям, ежели впрочем он не грубый мужлан, неспособный их понять, или не бесстыдник, готовый над ними посмеяться, или не человек ученый, могущий вступить в равный бой, подобно тому, как волхв состязается с волхвом или владелец заколдованного меча бьется с противником, тоже имеющим подобное оружие.



В последнем случае ничего не остается, как распустить ткань Пенелопы¹⁶ и все начать сызнова. Но, по моему суждению, весьма умно поступили бы христиане, если бы вместо мощных воинских когорт, которые ныне с переменным успехом ведут войну с турками, они послали в бой крикливейших скотистов, упрямейших оккамистов, непобедимейших альбертистов и всю прочую рать софистов.

Полагаю, что весьма приятно было бы полюбоваться на такую схватку и никогда невиданную победу. Ибо кто настолько холоден, чтобы не воспламениться от этих ученых тонкостей? Кто столь тупоумен, чтобы не оценить всей их остроты? Кто довольно глазаст, дабы различить что-либо в этом непроглядном мраке? Однако, чего доброго, вам покажется, будто я говорю все это просто ради шутки. Нисколько не дивлюсь подобному предположению, ибо и между самими богословами есть люди, знакомые с настоящей наукой, которых тошнит от всех этих теологических хитростей. Есть и такие, которые ненавидят их, словно богохульство, и почитают величайшим нечестием рассуждать скверными устами о столь таинственных вещах, дарованных нам более для поучения, нежели для объяснения, спорить о них с диалектическими изворотами, заимствованными у язычников, и оплевывать величие божественного богословия холодными словами и гнусными изречениями. А магистры наши, между тем, до-нельзя собой довольны, сами себе рукоплещут и столь поглощены бывают ночью и днем своим усладительным вздором, что не остается им даже минуты досуга, дабы развернуть хотя однажды Евангелие или Павловы послания. Дурачась таким манером в школах, мнят они, будто поддерживают своими силлогизмами готовую рухнуть вселенскую церковь, подобно тому, как в сказаниях поэтов Атлант¹⁷ поддерживает на плечах свод небесный. А разве не приятно, как вы думаете, разминать, словно воск, таинственное священное учение и ставить свои заключения, подписанные

несколькими схоластиками, выше Солоновых законов и папских декретов? Разве не отрадно мнить себя цензорами всего круга земного и требовать отречений от всякого, кто хотя бы в самой малости разойдется с их очевидными и подразумеваемыми заключениями, и вещать наподобие оракула: «Это утверждение соблазнительно. Это — непочтительно. Это — пахнет ересью. Это — худо звучит».

Таким образом ни крещение, ни Евангелие, ни Павел с Петром, ни св. Иероним, ни Августин, ни же сам Фома *Аристотельствующий* не в силах сделать человека христианином, буде не удостоится он одобрения со стороны тонко мудрствующих бакалавров. Как догадаться, что не христианин всяк, отрицающий тождественность таких например изречений: *matula putes* и *matula putet*, *ollae fervere* и *ollam fervere*¹⁸, если бы мудрецы эти не сообщили нам об этом. Не будь их, кто вывел бы церковь из мрака стольких заблуждений, которыми и заниматься никто не стал бы, если бы к ним не были привешены большие университетские печати? Воистину блаженны все, кто мог посвятить себя подобным вещам. Они опи-



сывают преисподнюю с такой подробностью, как будто много лет были гражданами этой республики. Они мастерят по своему усмотрению новые миры, в том числе и десятое небо, из всех превосходнейшее и обширнейшее. Надо ведь и праведным душам погулять, попировать, поиграть в мяч на просторе. От всей этой чепухи головы у богословов до того распухли, что, полагаю, и у самого Юпитера меньше раздуло мозги, когда он, собираясь произвести на свет Палладу, прибегнул за помощью к Вулкану. Не дивитесь поэтому, ежели они являются на публичные диспуты с головами, обмотанными столькими повязками. Без этой предосторожности их черепа могли бы треснуть. Я сама подчас не в силах удержаться от смеха, видя, что они мнят себя истинными богословами преимущественно потому, что изъясняются столь грубым и варварским языком. При этом они так здорово заикаются, что понять их может лишь другой им подобный заика. Свое невнятное бормотание почитают они признаком глубокомыслия, недоступного уразумению толпы. Законы грамматики кажутся им несовместимыми с достоинством священной науки. Воистину удивительно величие богословов, которым одним позволено говорить с ошибками, хотя, впрочем, они разделяют это право со всеми подонками общества. Они мнят себя чуть ли не богами, слыша, как их благоговейно именуют магистрами. В этом прозвище им чудится нечто схожее с иудейской тетраграммой¹⁹. Они утверждают, что неприлично писать слова *Magister noster* строчными литерами. А ежели кто случайно

скажет наоборот — *poster Magister*, то тем самым нанесет тягчайшее оскорбление всему их богословскому величеству.



ГЛАВА LIV.

Иноки и монахи.

К богословам по благополучию своему всего ближе так называемые в народе благочестивые монахи-пустынники, хотя это прозвище не

слишком им пристало, поскольку большинство их далеки от всякого благочестия, и никто чаще их не попадаетея вам навстречу во всех людных местах. Не знаю, кто был бы несчастнее монахов, если б я не приходила им на помощь столь многими способами. Они навлекли на себя такую единодушную ненависть, что даже случайная встреча с монахом почитается за худую примету, а между



тем сами они вполне собою довольны. Во-первых, они уверены, что наивысшее благочестие состоит в воздержании от всех наук, так что лучше даже вовсе не знать грамоты. Засим, читая в церквах ослиными голосами размеченные, но непонятные им псалмы, они пребывают в убеждении, что доставляют этим великую усладу святым. Иные из них бахвалятся своим неряшеством и попрошайничеством и с громким мычанием требуют милостыни у дверей. Назойливой толпой окружают они гостиницы, повозки и кораблик к немалому ущербу для прочих нищих. Своей грязью, невежеством, грубостью и бесстыдством эти милые люди, по их собственным словам, уподобляются в глазах наших апостолам. Приятно видеть, как все у них делается по уставу, словно по математической таблице, и отступить от устава значит, по их мнению, согрешить. Предусмотрено раз навсегда, сколько узлов обязан носить мо-

нх, и сколько раз в день читать молитвы. Они строго соблюдают все эти правила, и никто не смеет им в этом мешать. Если кто-нибудь из них увидит, что кто-то нарушает устав, тотчас же сообщает об этом своим начальникам, и те строго наказывают виновного. Они считают это своим долгом и даже гордятся этим. Иные из них, видя, что кто-то из их братьев нарушает устав, стараются исправить его, и за это получают похвалу от начальников. Они считают это своим долгом и даже гордятся этим. Иные из них, видя, что кто-то из их братьев нарушает устав, стараются исправить его, и за это получают похвалу от начальников. Они считают это своим долгом и даже гордятся этим.

нах на своем башмаке, какого цвета должен быть его пояс, какими внешними признаками должна отличаться его одежда, из какой ткани подобает ее шить, какой ширины должен быть пояс, какого покроя капюшон, сколько вершков в поперечнике должно иметь гуменцо на темени и сколько часов имеет право спать монах. Кому неясно, сколь несправедливо такое внешнее равенство при естественном неравенстве умов и телесного сложения? И однако по причине всего этого вздора они не только мнят себя безмерно выше людей светских, но и друг друга взаимно презирают и, дав обет апостольской любви, заводят целые трагедии из-за несколько иначе опоясанной или более темной рясы. Между ними и таких увидишь строгих богомоллов, которые сверху носят обязательно власяницу, а исподнее шьют из полотна,



другие же, напротив, сверху бывают полотняными, а внутри шерстяными. Некоторые боятся прикоснуться к деньгам, словно к яду, но несколько не опасаются ни вина, ни прикосновения к женщинам.

Но всего усерднее стараются они о том, чтобы не быть похожими друг на друга. Не в том, чтобы возможно более уподобиться Христу, их цель, но в том, чтобы возможно сильнее отличаться от монахов других орденов. Немалую утеху находят они также и в своих прозваниях: так, одни именуют себя вервеносцами¹, но и вервеносцы опять-таки разделяются на колетов, миноритов, минимов и буллистов. Засим следуют бенедиктинцы, бернардинцы, бригиттинцы, августинцы, вильгельмиты, яacobиты,—как будто недостаточно называться просто христианами. Большинство их так полагается на свои обряды и человеческие преданья, что самое небо едва считает достойной наградой за такие заслуги, и не помышляет никто о том, что Христос, презрев все это, спросит об исполнении един-



ственной его заповеди, а именно — закона любви. Тогда один выставит напоказ свое брюхо, раздувшееся от рыбы всевозможных пород. Другой вывалит сто мер псалмов. Третий перечислит мириады постов и сошлет-ся на свое чрево, которое столько раз едва не лопнуло после разговения. Иной при-тащит такую кучу обрядов, что ее едва под силу сvezти семи тор-

говым кораблям. Иной станет бахвалиться тем, что пятьдесят лет подряд притрагивался к деньгам не иначе, как обмотав предварительно пальцы двойной перчаткой. Этот покажет плащ, до того грязный и заплатанный, что ни один матрос не удостоил бы прикрыть им свое тело. Тот напомним, что в течение одиннадцати пятилетий он вел жизнь губки, вечно прикованной к одному и тому же месту. Этот сошлетя на свой голос, осипший от усердного псалмопения. Один впал в непробудную спячку от одиночества, у другого закоснел язык от долговременного молчания. Но Христос, прервав нескончаемое их хвастовство, вдруг скажет: «Откуда эта новая порода иудеев? Лишь один закон признаю я моим и как-раз о нем ничего до сих пор не слышу. А ведь во время оно я совершенно открыто, без всякой притчи или иносказания обещал отчее наследие в награду не за капюшоны, не за молитвы, не за воздержанье от пищи, но только за дела милосердия. Не знаю я тех, кто слишком хорошо знает свои подвиги. Кто хочет казаться святее меня, тот пусть займет, если ему это угодно, небо абраксазиев² или прикажет построить новое небо тем людям, которые ставят свои преданьяца выше моих заповедей». Как вы думаете, с какими лицами поглядят друг на друга монахи, услышав, что им предпочитают матросов и извозчиков? Но до поры до времени они по моей милости могут утешаться надеждою. Хотя они и отстранены по закону от всех общественных дел, однако никто не смеет пренебрегать ими, особливо же нищенствующими монахами, кото-

рые знают все чужие тайны благодаря исповеди. Тайны эти они хранят нерушимо. Даже в пья-



ном виде, желая развеселить общество шутливыми рассказами, они не называют собственных имен и только по обстоятельствам дела дают возможность догадаться, о ком идет речь. Но ежели кто разъярит этих ос, того они здорово отделают во всенародных проповедях, причем укажут сво-

его врага, хотя и обиняками, но так метко, что поймет всякий, кроме тех разве, кто вообще ничего не понимает. И дотоле не прервут они своего лая, пока не бросишь им в пасть лакомый кус.

Какой комедиант, какой скоморох сравнится с ними, когда они разглагольствуют с кафедры, забавно подражая ухваткам древних риториков? Боже бессмертный, как они кривляются, как повышают кстати голос, как гнусавят, как бахвалятся, какие рожи строят, как воют на разные лады! Это ораторское искусство с великой таинственностью передается от одного братца-монаха к другому. Об этом и мне самой не дано знать, я могу говорить здесь только на основании готовых результатов. Прежде всего взывают они к божеству, по обычаю, заимствованному

у поэтов. Засим, собираясь говорить о милосердии, заводят речь о Ниле, реке египетской, или, проповедуя о таинстве креста, весьма кстати поминают Бэла, дракона вавилонского. Начав диспут о посте, они перечисляют двенадцать знаков Зодиака и, рассуждая о вере, принимаются толковать о квадратуре круга. Я сама слыхала одного изрядного глупца — прошу прощения за обмолвку — одного ученого, который в прославленной проповеди, посвященной толкованию таинства святой троицы, желая дать выгодное понятие о своей начитанности и польстить слуху богословов, прибег к совершенно новому способу, а именно, завел речь сперва о буквах, потом о слогах, образующих слова, потом о словах, составляющих речь, наконец о согласовании имен и глаголов, существительных и прилагательных. Многие слушатели дивились, и иные уже повторяли про себя стих Горация:

Эта дремучая чушь какое имеет значенье? ³

Наконец проповедник доказал, что в основных началах грамматики заключается прообраз святой троицы, и так здорово доказал, что никакой математик не смог бы за ним угнаться. Этот *сверхбогослов* потел над своей речью целых восемь месяцев и даже ослеп от того, словно крот, так что острота зрения пострадала у него ради остроты ума. Но сам он не слишком горюет об этом, полагая, что еще дешево купил свою славу. Слыхала я также про другого восьмидесятилетнего богослова, до такой степени ученого, что его можно принять за самого Дунса

Скота, воскресшего из мертвых. Изъясняя тайну имени Иисусова, он с изумительной тонкостью доказал, что в самых буквах этого имени содержится все, что только можно сказать о нем. Ибо имя это имеет лишь три изменяемых падежа — явственный прообраз божественной троичности. Засим — первый падеж *Jesus* оканчивается на *s*, второй — *Jesu* — на *u*, третий *Jesum* — на *m*, и в этом неизреченная тайна, а именно: сказанные три буквы означают, что Иисус есть *Summus, Medius et Ultimus*, т. е. верхний, средний и нижний. Оставалось разъяснить при помощи математики другую, еще более сокровенную тайну: ежели разделить имя «Иисус» на две равные части, то посредине останется буква *s*. Эта буква у евреев называется *син*, а на языке шотландцев слово *syn* означает грех. Отселе явствует, что Иисус есть тот, кто понес на себе грехи мира. Восхищенные столь необычайным вступлением слушатели, особливо же теологи, чуть не обратились в камень наподобие Ниобеи⁴, а со мною от смеха едва не стряслась такая же беда, какая постигла деревянного Приапа, когда ему однажды пришлось стать свидетелем ночных тайнств Канидии и Саганы⁵. Да оно и стоило того. Ибо подобным вступлением не зачинали своих речей ни эллины Демосфен, ни латинянин Цицерон. Они считали непозволительным упоминать о вещах, не имеющих никакого отношения к предмету речи. Впрочем, нужно заметить, что именно так говорят даже коровьи пастухи, их учит тому сама природа. Но доктора наши, зачиная свою так называемую «преамбулу», верят, что, чем

далее отстоит она от содержания остальной речи, тем больше в ней риторских красот, и потому стараются, чтобы восхищенный слушатель бормотал себе под нос: «Куда это он теперь загнет?»



Засим, на третьем месте следует пересказ небольшого отрывка из Евангелия. Оратор изъясняет этот отрывок впопыхах и как бы мимоходом, тогда как об одном этом, в сущности, и следовало бы говорить. Засим, в-четвертых, надевив новую личину, проповедник выдвигает какой-либо богословский вопрос, по большей части *не имеющий отношения ни к земле, ни к небу*, как говорит Лукнан. Того требуют законы ораторского искусства. Здесь начинается превыс-преянное богословие. В ушах слушателей раз-

даются звучные титулы докторов величавых, докторов изощренных, докторов изощреннейших, докторов серафических, докторов святых и докторов неоспоримых. Засим следуют большие и малые силлогизмы, конклюдзии, королларии, суппозиции и прочая схоластическая дребедень,



предлагаемая вниманию невежественной толпы. Наконец разыгрывается пятый акт, требующий наивысшей ловкости и искусства. Проповедник рассказывает какую-нибудь глупую и невежественную басню, позаимствованную из «Исторического зеркала» или из «Римских деяний»,⁶ и толкует ее аллегорически, тропологически и ана-

гогически. Эгим заканчивается речь, похожая на ту химеру, о которой говорит Гораций в известном стихе: «К человеческой голове⁷ и т. д.». Наши проповедники слышали неведомо от кого, что начинать речь подобает возможно тише. И вот читают они свой приступ таким голосом, что и сами себя не могут расслышать, как будто стоит говорить, ежели никто тебя не понимает. Слышали они также, что волнение слушателей вызывается восклицаниями. Поэтому, заговорив обычным голосом, они вдруг повышают его до бешеного вопля, хотя бы и совсем некстати. Право, хочется иногда побожиться, что такому проповеднику пошло бы впрок успо-

коительное снабдье, ибо он не говорит, а только выкликает. Далее, слышали они, что речь следует вести, постепенно воодушевляясь. Поэтому, произнеся вначале несколько фраз пристойным голосом, они вдруг начинают надрываться, хотя бы дело касалось самых безразличных предметов, и до тех пор усердствуют, пока у них хватает духу. Засим вытвердили они все, что древние риторы говорят о смехе, и потому тщатся отпускать шуточки. Какие шуточки, любезная Афродита! Такие изящные, такие уместные, что кажется, будто слушаешь осла, поющего при звуках лиры. Пытаются они порою и съязвить, но при этом скорее щекочут, нежели ранят, и более преуспевают в лести, нежели в обличении. Вообще все проповеди произносятся таким манером, что хочется присягнуть, будто авторы их обучились своему искусству у рыночных скоморохов, хотя до сих последних им все-таки далеко. Во всяком случае, они во многих отношениях столь с ними схожи, что, без всякого сомнения, либо те у этих, либо эти у тех позаимствовали свою риторику. И однако при моей чудодейственной помощи находят они слушателей, готовых почитать их за истинных Демосфенов и Цицеронов. Таковы в особенности торговцы и бабы. Им одним тщатся угодить проповедники, ибо первые всегда готовы уделить



частицу неправедно нажитого всякому, кто сумеет им польстить, а вторые по многим причинам благоволят к духовному сословию, особенно же потому, что привыкли изливать на груди у монахов свои жалобы на мужей. Теперь, я полагаю, вы сами видите, сколь многим обязана мне эта порода, которая при помощи обрядов, вздорных выдумок и диких воплей подчиняет смертных своей тирании, а сама мнит себя новыми Павлами и Антониями ⁸.

ГЛАВА LV.

Короли и придворные вельможи.

Охотно покидаю я этих лицедеев, которые черной неблагодарностью платят мне за мою благостыню, а сами бесчестно прикидываются набожными, и с истинной усладой завожу правдивую, неприкрашенную речь о королях и о знатных придворных. Говорить о них я буду с откровенностью и прямою, достойной людей благородных. Что, если бы у этих господ завелось хотя бы на пол унции здравого смысла? Как печальна и незавидна была бы их жизнь! Конечно, никто не решился бы добиваться власти ценою клятвопреступления и убийства, если бы предварительно взвесил, какое тяжелое бремя возлагает на свои плечи всякий, желающий быть государем. Кто взял в свои руки кормило правления, тот обязан отныне помышлять лишь об общественных, а отнюдь не о своих частных делах, не отступать ни на вершок от законов, кои он и автор, и исполнитель, следить

постоянно за неподкупностью должностных лиц и судей, вечно быть у всех перед глазами, как благодетельная звезда, охраняющая своим чудодейственным влиянием род человеческий, или как зловещая комета, всем несущая гибель. Пороки частных лиц приносят мало вреда и по большей части остаются скрытыми. Но государь поставлен так высоко, что если он позволит себе хотя бы малейшее уклонение от путей чести, тотчас же словно чума распространяется среди его подданных. Богатство и могущество государей умножают для них поводы свернуть с прямой дороги. Чем больше вокруг них наслаждений, лести, роскоши, тем бдительнее вынуждены они следить за собой, дабы не погрешить в чем-либо против обязанностей своего звания. Наконец, какие западни, какая ненависть, какие опасности окружают их, не говоря уже о страхе перед тем неизбежным мгновением, когда в присутствии единого истинного царя у них истребован будет отчет даже в малейшем проступке, и истребован с тем большею строгостью, чем шире была предоставленная им власть! Если бы государь взвесил в уме своем все это и многое другое в том же роде, то, я полагаю, не было бы ему отрады ни в сне, ни в пище. И однако нынче, благодаря моим дарам, государи возлагают все заботы на богов, живут в довольстве и веселии и, дабы не смущать своего спокойствия, допускают к себе только таких людей, которые привыкли говорить исключительно приятные вещи. Они уверены, что честно исполняют свой долг, если усердно охотятся, разводят породистых жеребцов, про-

дают себе в прибыток судебные должности и чины и измышляют ежедневно новые способы, как бы отнять у граждан их достояние и перевести его в свою казну. Правда, для последнего всегда требуется некий благовидный предлог, так что даже несправедливейшее дело должно иметь внешнее подобие справедливости. Получив требуемое, государи не жалеют льстивых слов с целью привлечь к себе души подданных. Теперь вообразите — а ведь это встречаешь на каждом шагу — человека невежественного в законах, едва ли не открытого врага общего блага, преследующего единственно свои личные выгоды, преданного сладострастию, ненавистника учености, ненавистника истины и свободы, отнюдь не помышляющего о пользах общественных, но все меряющего на аршин собственных своих прибытков и вожделений.



Наденьте на такого человека золотую цепь, знаменующую соединение всех добродетелей, возложите ему на голову корону, усыпанную дорогими камнями, как видимое напоминание о том, что носитель ее должен превышать всех героической доблестью, вручите ему скипетр, символ правосудия и непод-

купной справедливости, наконец, облеките его в пурпур — прообраз возвышенной любви к отечеству. Ежели государь сопоставит эти видимые знаки своего величия со своей повседневной жизнью, то, я уверена, он устыдится своих украшений, и ему станет страшно, как бы какой-нибудь шутник не сделал предметом посмеяния этот торжественный театральный наряд.

ГЛАВА LVI

Поминать ли мне здесь придворных вельмож? Нет ничего раболепнее, низкопоклоннее, пошлее и гнуснее, нежели подавляющее большинство их, а между тем они во всех делах хотят быть первыми. Лишь в одном отношении они весьма скромны: довольствуются тем, что украшают своё тело золотом, дорогими камнями, пурпуром и прочими внешними знаками доблести и мудрости, но самую суть этих двух прекрасных вещей целиком уступают другим людям. Они чрезвычайно тщеславятся тем, что им позволено называть короля своим «хозяином», говорить ему при всяком удобном случае комплименты, рассыпая в изобилии льстивые титулы,



как-то: «ваша светлость», «ваше великолепие», «ваше величество». Какие подобострастные строят они при этом лица, как ловко льстят! Оба эти искусства как нельзя более приличны знатному барину и придворному. Но всмотрись поближе и увидишь, что это настоящие феаки¹, женихи Пенелопы. Эхо подскажет вам окончание этого стиха лучше, чем я. Спят они до полудня. Наемный попик стоит наготове возле постели и, лишь только барин проснется, тотчас же наспех служит обедню. Засим следует завтрак, по окончании которого почти немедленно подают обед. Затем кости, бирюльки, пари, девки, шуты, скоморохи, забавы и потехи. В промежутках раза два закуска с выпивкой. Затем наступает время ужина, за которым, клянусь Юпитером, осушается не одна бутылка. Таким образом без малейшей скуки проходят часы, дни, месяцы, годы, века. Даже мне самой иногда бывает не в мочь глядеть на этих *длиннохвостых*. Вот прекрасная нимфа, которая мнит себя равной богиням, потому что таскает за собой длиннейший шлейф. Вот франт, расталкивающий локтями соседей с целью пробиться поближе к Юпитеру; вот другой, счастливый тем, что на шее у него красуется тяжелейшая цепь. Посредством ее он может выставить на показ не только свое богатство, но и телесную силу.

ГЛАВА LVII

Епископы.

Папы, кардиналы и епископы не только соперничают с государями в пышности, но иногда и превосходят их. Вряд ли кто из них помы-

шляет о том, что носимая им льняная одежда, прообраз белоснежной чистоты, означает беспорочную жизнь. Кому приходит в голову, что двурога митра, стянутая узлом с двойной верхушкой, знаменует совершеннейшее знание Ветхого и Нового завета? Кто помнит, что руки, обтянутые перчатками, суть символ чистого и непричастного ко всему земному совершения таинств, что посох изображает бдительную заботу о пастве, а епископский крест—победу над всеми страстями человеческими? И вот я спрашиваю: тот, кто поразмыслит над подразумеваемым значением всех этих предметов, не будет ли вынужден вести жизнь, исполненную забот и печалей? Но почти все избрали благую часть и пасут только самих себя, возлагая заботу об овцах либо на самого Христа, либо на странствующих монахов. И не вспомнит никто, что самое слово «епископ» означает труд, заботу и прилежание; только о собирании денег пекутся они и здесь, как подобает епископам, *смотрят в оба.*



ГЛАВА LVIII

Кардиналы.

Равным образом, что было бы, если б кардиналы вспомнили, что они унаследовали место апостолов и, стало быть, обязаны подражать их жизни? Что, если бы им пришло в голову, что они не господа, но лишь управители ду-



ховных даров, в распоряжении которыми им рано или поздно придется дать строжайший отчет? Если б они хоть призадумались над значением отдельных частей своего облачения! Что означает эта белизна рубашки, ежели не высочайшую и совершеннейшую беспорочность жизни? Что такое эта пурпуровая ряса, как не прообраз пламенной любви к богу? Каков смысл этой мантии, ниспадающей широкими складками на спину мула их эминенции и столь обширной, что ею можно было бы прикрыть даже верблюда? Не знамение ли это все-

объемлющего христианского милосердия, выражающегося в поучениях, увещаниях, наставлениях, обличениях, в предотвращении войн и в сопротивлении неправедным государям, даже до пролития собственной

крови за христианскую паству, не говоря уже о жертвах своим достоинством? Да и подобает ли богатое достоинство тем, кто пришел на смену нищим апостолам? Повторяю, если бы отцы кардиналы взвесили все это, они не добивались бы этого высокого сана и покидали бы его с великой охотой, либо вели жизнь, полную тяжелых трудов и забот, по примеру древних апостолов.

ГЛАВА IX

Верховные первосвященники.

А верховные первосвященники, которые заступают место самого Христа? Что, если бы они попробовали подражать его жизни, т. е. бедности, трудам, чистоте учения, крестной смерти, презрению к жизни? Что, если бы они задумались над значением своих титулов — папы, иначе говоря, отца — и святейшества? Чья участь в целом мире была бы печальнее? Кто стал бы добиваться этого места всевозможными способами или, однажды добившись, посмел бы отстаивать его посредством меча, яда и всяческих насилий? Сколь многих прибытков лишился бы папский престол, если бы на него хоть однажды вступила Мудрость? Мудрость, сказала я? Пусть не Мудрость даже, а хотя бы крупинка той соли, о которой проповедывал Христос. Что осталось бы тогда от всех этих богатств, почестей, доходов, побед, должностей, диспенсаций, приношений, индульгенций, коней, мулов и наслаждений? Их место заняли бы бдения, посты, слезы, проповеди, ученые занятия, покаянные вздохи и ты-

сяча других столь же горестных трудностей. Не следует также забывать об участи, которая постигла бы все это множество чиновников, копиистов, нотариусов, адвокатов, промоторов, секретарей, погонщиков мулов, конюших, банкиров, сводников... Прибавила бы я еще словечка два покрепче, да боюсь, слишком жестки покажутся они ушам вашим. В общем вся эта огромная толпа, которая отягощает, — или нет, прошу прощения, — которая украшает нынче римский престол, была бы обречена на голод. Но еще бесчеловечнее, еще ужаснее, еще ненавистнее для очень многих было бы пожелание, чтобы верховные князья церкви, эти истинные светочи мира, снова взяли за суму и посох. Теперь, напротив, все труды возлагаются на Петра и Павла, у которых довольно досуга, а блеск и наслаждение папы берут себе. При моей помощи никому в целом роде людском не живет так привольно и беззаботно, как им. Они мнят, будто в совершенстве исполняют закон Христа, появляясь перед народом в своем мистическом и почти театральном уборе, присваивая себе титулы блаженства, преподобия и святейшества, раздавая благословения и проклятия и разыгрывая верховных епископов. Смешно, старомодно и совсем не пристало нашему времени творить чудеса. Поучать народ — трудно; толковать священное писание — схоластично; молиться — бесполезно; лить слезы — лицемерно и женоподобно; жить в бедности — грязно; признать свое поражение — постыдно и недостойно того, кто и королей едва допускает лобызать свои блаженные ноги; умирать — неприятно; быть



распятым—позорно. Остается уповать на оружие, да на те сладкие словеса, о которых упоминает апостол Павел¹ и которых никогда не жалели папы в своем милосердии, а именно — на ин-



тердикты, на разрешения подданных от присяги, на повторные отлучения, на анафемы, на картинки с изображениями чертей и, наконец, на те грозные молнии, при помощи которых души смертных низвергаются в самую глубину Тартара. Святейшие отцы и Христовы наместники немедленно поражают этими молниями тех, кто, наученный дьяволом, пытается

уменьшить или расхитить достояние св. Петра. Хотя, по свидетельству Евангелия, Петр сказал: «Вот, мы оставили все и последовали за тобою»², однако его достоянием именуется поля, города, селения, налоги, пошлины, владельческие права. Ревнуя о Христе, папы отстаивают все это огнем и железом с немалым пролитием христианской крови и свято верят, что они по завету апостольскому охраняют невесту Христову — церковь — и доблестно сокрушают ее врагов. Как будто могут быть у церкви более злобные враги, нежели нечестивые первосвященники, которые своим молчанием о Христе позволяют

забыть о нем, которые связывают его своими каверзными законами, искажают его учение своими натянутыми толкованиями и убивают его своей гнусной жизнью. Поскольку церковь основана на крови, кровью скреплена и кровью расширилась, они по сей день продолжают действовать железом, как будто погиб Христос, могущий защитить своих верных. Хотя война есть дело до того жестокое, что подобает скорее хищным зверям, нежели людям, до того безумное, что поэты считают ее порождением фурий, до того зловредное, что разлагает нравы на подобие дурной болезни, до того несправедливое, что лучше всего предоставить ее ведение отъявленным разбойникам, до того нечестивое, что ничего общего не имеет с Христом,—однако папы, забывая обо всем на свете, то и дело начинают войны.

Порой увидишь даже дряхлых старцев³, одушевленных чисто юношеским жаром, которых никакие расходы не страшат и никакие труды не утомляют, которые бывают готовы поставить вверх дном законы, религию, мир и все вообще дела человеческие, ежели им представится в том нужда. И находятся у них ученые льстецы, которые именуют это явное безумие святой ревностью, благочестием, мужеством, которые пускаются во всевозможные тонкости с целью доказать, что можно пронзать железом утробу брата своего, несколько не погрешая в то же время против высшей заповеди Христа о любви к ближнему.

ГЛАВА LX

Германские епископы.

Я не берусь сказать наверное, с пап ли взяли пример или, напротив, сами послужили для пап примером германские епископы, которые действуют еще проще: скинув свой святой убор, отказавшись от благословений и прочих обрядностей, они откровенно разыгрывают сатрапов и почитают неприличным и даже позорным для епископа отдать богу доблестную душу где-либо в ином месте, кроме ратного поля. Что касается рядовых священников, то им, конечно, неподобаает уступать в святости жизни своему церковному начальству. Поэтому и они сражаются воинским обычаем за право десятины, обороняя ее мечами, копьями, камнями и прочим оружием. Люди весьма глазастые, они вычитывают в старинных грамотах все, чем можно навести страху на простой народ и заставить его вносить более, чем десятую часть урожая. И не приходит ни одному из них в голову, что по должности своей они тоже обязаны многое делать для народа. Даже бритое гуменцо на макушке не напоминает им, что священнику надлежит быть свободным от всех мирских похотей и помышлять только о небесном. Эти милые люди полагают, будто честно правят свою должность, если бормочут кое-как свои молитвы, которых, клянусь Гераклом, не слышит и не понимает ни один бог, поскольку они сами не понимают того, что слетает с их уст. И еще одно уподобляет священников мирянам: все они бдительно следят за сбором жатвы и знают все.

относящиеся сюда законы. Что касается обязанностей, то они благоразумно перелагают это бремя на чужие плечи или передают из рук



в руки, словно мячик. Подобно тому, как светские государи посылают для управления областями наместников, а наместники в свою очередь поручают это дело своим помощникам, так и высшее духовенство, по смирению своему,

предоставляет труды благочестия простому народу. Но и простой народ спешит свалить эти труды на так называемых церковников, как будто сам он ничего общего не имеет с церковью и обряд крещения вовсе над ним не совершился. Священники, именуемые светскими, очевидно как посвятившие себя миру, а не Христу, сваливают груз пастырских обязанностей на регулярное духовенство. Регулярное¹ духовенство прибегает к содействию монахов; монахи, живущие по легкому уставу, призывают монахов устава строгого; последние обращаются к нищенствующим орденам, а нищенствующая братия уповает на картезианцев², среди которых единственно и скрывается благочестие, но так хорошо скрывается, что на него почти никогда не позволяют даже посмотреть. Равным образом верховные первосвященники, столь усердные в собирании денежной жатвы, перелагают тяжкие апостольские труды на епископов, епископы—на приходских священников, приходские священники—на викариев, викарии—на нищенствующих монахов. Эти последние, в свою очередь, обращаются к услугам тех, кто лучше всего умеет стричь баранью шерсть. Впрочем, я не намерена разбирать здесь со всеми подробностями жизнь папы и прочих духовных лиц. Не сатиру я сочиняю и не похвальное слово. И да не подумает кто, будто я порицаю хороших государей, превознося дурных. Я лишь стремлюсь доказать в немногих словах, что ни один смертный не может жить с приятностью, не будучи посвящен в мои таинства и не пользуясь моим благоволением.

ГЛАВА LXI

Фортуна благоприятствует Глупости.

Да и может ли быть иначе, ежели сама Рамнузия¹, управительница всех человеческих дел, до того единодушна со мною, что вечно пылает враждой к мудрецам, а дураков, напротив, даже во сне привыкла осыпать благодеяниями. Слыхали вы про афинского полководца Тимофея, прозванного Счастливым, о котором сложили пословицу: *счастье валит к нему и во сне*. Напротив, о мудрецах говорится, что *рождаются они на ущербе, ездят на Сеяновом коне² и имеют в карманах тулузское золото³*. Но хватит с меня пословиц, а то пожалуй подумают, будто я украла их из сборника, составленного моим другом Эразмом. Итак, к делу! Фортуна любит людей, не особенно благоразумных, но зато отважных, таких, которые привыкли повторять: *«Будь, что будет»*. А мудрость делает людей робкими. Поэтому повсеместно увидишь мудрецов, живущих в бедности, в голоде, в грязи и в не-



бреженин, презираемых и ненавистных. К дуракам же плывут деньги, они держат в своих руках кормило государственного правления и вообще всячески процветают. Если счастье состоит в том, чтобы угодить государям и блистать в нарядной толпе придворных, то что может быть бесполезнее



мудрости, что губительнее ее для рода человеческого? Если речь пойдет о накоплении богатств, какого прибывтка дождется купец, следующий внушениям мудрости? Ведь он избегает ложных клятв, краснеет, когда его уличат во лжи, придает великое значение всем тем пустякам, которые мудрецы нагородили относительно воровства

и ростовщичества. Если церковные почести и доходы прельщают тебя, то знай, что осел или буйвол скорей достигнут их, нежели мудрец. Если манит тебя сладострастие, то помни, что молодые женщины, о которых мы так много говорили сегодня, всем сердцем преданы дуракам, мудреца же боятся и избегают, словно скорпиона. Наконец все, желающие пожить хоть немного приятнее и веселее, первым долгом спешат изгнать мудреца и готовы допустить любого скота на его место. Коротко говоря, к кому ты ни обратишься, — к

первосвященникам, монархам, судьям, чиновникам, друзьям или врагам, к великим или малым мира сего, — повсюду требуются наличные деньги. А поскольку мудрец презирает деньги, то все дружно от него отворачиваются.



Но если похвалам, подобающим мне, не может быть ни меры, ни предела, то всякая речь по необходимости должна иметь свой конец. Поэтому я кончаю, и лишь предварительно укажу в нескольких словах, что многие изрядные авторы прославили меня и в своих писаниях, и на деле. Не то вы, чего доброго, подумаете, что я одна, словно дура, восхищаюсь собою, и какие-нибудь жалкие законники станут

распространять клевету, будто мне не на кого сослаться. Итак, последую их примеру, иначе говоря, буду цитировать *вкривь и вкось*.

ГЛАВА LXII.

Свидетельство древних.

Начать с того, что все убеждены в правдивости следующей общеизвестной поговорки: *где нет самой вещи, там придется и внешнее ее подобие*. Ту же самую истину преподают детям в виде известного стишка.

Притворяйся, мальчик, глупым,
Если хочешь умным быть.

Вы сами теперь понимаете, какое великое благо Глупость, если даже обманчивая тень ее



и простое подражание заслужили такие хвалы из уст людей ученых. Еще откровеннее высказался этот толстый и холеный поросенок из Эпикурова стада¹, посоветовав смешивать глупость с умными речами. Он, правда, добавил, что глупость должна быть «краткой», но эта поправка не делает ему чести.

У него же в другом месте сказано:

В урочную пору для нас и безумство отрадой бывает².

И далее:

Лучше безумцем прослыть и болваном, чем умником скучным ³.

Уже у Гомера Телемах, всячески восхваляемый поэтом, именуется однако многократно *неразумным дитятей*. Это счастливое прозвище трагики постоянно дают мальчикам и отрокам. Что такое сама священная «Илиада», как не повествование о ссорах глупых царей и народов? Наконец, что может быть возвышеннее той хвалы, которую мне воздал Цицерон: «Весь мир полон глупцов», сказал он. Кому неизвестно, что чем шире распространено какое-либо благо, тем оно превосходнее?

ГЛАВА LXIII.

Свидетельство Священного писания.

Но быть может для христиан все эти язычники не указ? Обратимся в таком случае к свидетельствам Священного писания и постараемся с его помощью обосновать или, как говорят ученые, апрофондировать мою хвалу. Испросим разрешения у богословов и присту-



ним к этому трудному делу. Пожалуй, неприлично будет снова взывать к музам Геликонским, поскольку вопрос этот для них посторонний. Так как я разыгрываю теперь богослова, то лучше воззвать к душе Скота, колючей, словно еж или дикобраз, и попросить, чтобы она переселилась хоть на малое время из любезной своей Сорбонны¹ в мою грудь, а потом пусть вселяется в кого ей угодно, хоть в ворону. Вот если б только позволили мне нацепить другое лицо и облечься в богословские одежды. Боюсь, впрочем, как бы, увидя во мне столько богословской учености, не притянули меня к суду за то, что я обокрала исподтишка сундуки наших магистров. Но не следует удивляться тому, что, вращаясь так долго в тесном кругу теологов, я позаимствовалась у них кое-чем, подобно тому, как эта дубина бог Приап вытвердил и запомнил несколько греческих слов, слушая чтение своего господина. Петух в диалоге Лукиана от долгого общения с людьми тоже выучился говорить человеческим языком.

Но перейдем к самому делу с помощью божьей. Екклезиаст написал в главе первой: «Бесконечно число глупцов»². Вещая о бесчисленности глупцов, не хотел ли сказать писатель, что все люди вообще глупы, за ничтожными изъятиями, на которые не стоит обращать внимание. Еще яснее утверждает это Иеремия в главе десятой: «Безумствует,—говорит он,—всякий человек в своем знании»³. Пророк приписывает мудрость одному богу, а людям оставляет в удел глупость. Он же утверждает немного выше: «Да

не хвалится мудрый мудростью своей»⁴. Почему не позволяешь ты человеку хвалиться своей мудростью, добрейший Иеремия? «Потому, — отвечает он, — что человек вовсе не имеет мудрости». Но возвращаюсь к Екклезиасту. «Суета сует, — восклицает он, — и все суета!»⁵ Как вы полагаете, не разумел ли он этим, что жизнь человеческая, как мы уже говорили, есть всего-на-



всего игра Глупости? Не являются ли эти слова блестящим подтверждением приведенного мною выше изречения Цицерона о том, что весь мир полон глупцов? Далее, мудрый Екклезиаст сказал: «Глупый меняется, как луна, мудрый пребывает, как солнце»⁶. Не означает ли это, что весь род человеческий глуп, и лишь одного бога можно наименовать мудрым, ибо под луной должно разуметь человеческую природу, а под солнцем, источником всякого света — единого бога? К этому надо присовокупить, что сам Христос в Евангелии запрещает называть кого бы то ни было благим, кроме бога⁷. Итак, ежели глуп тот, кто не мудр, и ежели правы стойки, отождествляющие благость с мудростью, то от-

селе с необходимостью следует, что все люди подвержены Глупости. В книге притчей Соломоновых, в главе пятнадцатой, сказано: «Глу-



пость—радость для малоумного»⁸. Это означает, что без глупости ничто не сладко нам в жизни. О том же читаем и во ином месте: «Во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь»⁹. То же самое с еще большей ясностью провозгласил возвышенный проповедник в главе седьмой: «Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья»¹⁰. После этого понятно, что он сам не ограничился изучением мудрости, но счел за благо

свести знакомство также и со мной. Ежели не верите, сами взгляните на слова, которые начертаны в главе первой: «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость»¹¹. Обращаю, кстати, внимание ваше на то, что Глупость занимает в этом изречении второе место после Мудрости, а второе место не в пример почетнее. Вы сами знаете, что так следует по чину церковному: кто по должности своей всех выше, тот занимает последнее место согласно заповеди Евангелия. Глупость, вне всякого сомнения, первенствует перед Мудростью; об этом недвусмысленно свидетельствует тот же Екклезиаст в главе сорок четвертой¹². Но, клянусь Гераклом, я приведу вам его подлинные слова лишь в том случае, если вы пособите мне ответами на мои вопросы, как то делают в Платоновых диалогах собеседники Сократа. Что подобает скрывать: вещи редкие и драгоценные или пошлые и низкие? Что же вы молчите? Ежели вздумаете хитрить, то за вас ответит греческая пословица: *глиняный кувшин и у порога цел бывает*. И дабы не посмел никто нечестиво оспаривать правдивость этого изречения, спешу напомнить, что на него ссылается сам Аристотель, этот бог всех наших магистров богословия. Кто из вас настолько глуп, чтобы оставлять на пороге золото и драгоценные камни? Клянусь Гераклом, я не верю, чтобы такой дурак отыскался. Такие вещи вы держите во внутренних покоях, мало того, в сокровеннейших уголках окованных железом сундуков за потайными запорами. Итак, если драгоценные вещи надлежит прятать, а дешевые вы-

ставлять напоказ, то не явствует ли отсюда, что мудрость, которой люди тщеславятся, дешевле глупости, которую они скрывают? Внимайте свидетельству писания: «Лучше человеку скрывать глупость свою, чем тщеславиться мудростью своей»¹³. Священное писание приписывает глупцу простодушие, тогда как мудрец никого не почитает себе равным. Так по крайней мере толкую я следующее место у Екклезиаста: «По какой бы дороге ни шел глупый, у него всегда недостает смысла и всякому он выскажет, что он глуп»¹⁴. Какая скромность! Ставить себя на одну доску с прочими смертными и делить с ними похвалы, которых всякий почитает себя достойным! Поэтому и не постыдился великий царь самого себя наименовать глупцом, сказав в главе тридцатой: «Подлинно, я более невежда, нежели кто-либо из людей, и ума человеческого нет у меня»¹⁵. И Павел, апостол язычников, в послании к Коринфянам с охотою принимает название глупца: «Если кто смеет хвалиться чем-либо, то (скажу по неразумию) смею и я»¹⁶. Он, повидимому, никому не хотел уступить по части глупости.

Но уже поднимают против меня крик нынешние ученые греки, которые, словно воронье, норовят выклевать своими возражениями глаза новейшим богословам. В их стае, если не первое, то уж конечно второе место занимает мой милый Эразм, которого я, чести ради, поминаю здесь чаще других. «Глупая и воистину достойная Мории цитата, вопиют греки. Совсем иное хотел сказать апостол, а не то, что тебе почудилось. Он отнюдь не старался доказать, будто

он глупее других; это явствует из дальнейших слов: «Они евреи? И я. Израильтяне? И я. Семя Авраамово? И я. Христовы служители? В безумии говорю: я больше». Отлично понимая, что



он не только равен прочим апостолам по происхождению, но и превышает их в деле служения Евангелию, Павел прибавил: «Я больше». Однако, не желая вводить в соблазн тех, кому такое заявление могло показаться излишне дерзновенным, он тут же поспешил оправдаться: в безумии, мол, говорю. Ибо безумию дарована привилегия говорить правду, никого не оскорбляя». Но я вовсе не желаю препираться о том, что думал Павел, когда писал приведенные выше

слова. Я лично предпочитаю следовать дородным, жирным, тучным и всеми уважаемым богословам, с которыми большинство докторов наших предпочитают заблуждаться, нежели делить правые мнения с этими трехязычными. Ибо доктора наши почитают греков несколько не выше галок. Особливо один славный теолог, имя которого я благоразумно утаю, дабы не дать галкам повода лишней раз напомнить греческую пословицу об осле и лире ¹⁷, разъяснил по всем правилам богословской науки занимающий нас текст: «В безумии говорю; я больше». Этому месту он посвятил целую главу. Итак, я приведу здесь собственные его слова, одинаково замечательные как по форме, так и по содержанию: «В безумии говорю» — означает в данном случае, что ежели я кажусь вам безумным, приравнивая себя к лжеапостолам, то буду еще безумнее, поставив себя выше их». Впрочем, немного дальше наш теолог перескакивает на совсем другой предмет, видимо позабыв, о чем только-что шла речь.

ГЛАВА LXIV.

Лукавые толкователи слов Священного писания.

Но почему цепляюсь я так боязливо за один единственный пример? Как будто всем богословам вообще не предоставлено право выворачивать по своему усмотрению наизнанку небо, сиречь святое писание, словно баранью шкуру. Ведь и у самого божественного Павла встречаются слова, которые кажутся противоречи-

выми, но перестают быть таковыми, будучи прочитаны на подобающем месте. Ежели верить свидетельству *пятиязычного* Иеронима¹, Павел для подтверждения христианской веры исказил надпись на случайно замеченном им афинском жертвеннике и привел из нее только два слова: «неведомому богу»², пропустив все остальное как не соответствующее его целям, ибо надпись в действительности гласила: «Богам Азии, Европы и Африки, богам неведомым и чужеземным». Я полагаю, что по его примеру и наши *чада богословия* постоянно вырывают то здесь, то там четыре-пять словечек, даже искажают их подчас себе на потребу и затем ссылаются на них, нисколько не заботясь о том, что весь предыдущий и последующий текст либо никакого отношения не имеет к разбираемому вопросу, либо даже прямо противоречит тому толкованию, которое они предлагают. И столь счастливы бывают в своем бесстыдстве наши теологи, что им сплошь да рядом готовы позавидовать даже законоведы. В самом деле, как усумниться в том, что для них все возможно, когда знаменитый доктор — чуть не назвала



его по имени, да опять боюсь пословицы — выдавил из слов святого Луки некое поучение, которое так же хорошо уживается со всем духом Евангелия, как вода с огнем. В годину великой опасности, когда все добрые слуги собираются вокруг господ своих с целью *поборать за них* всеми силами, Христос, желавший изгнать из души своих учеников всякую надежду на земную подмогу, спросил, нуждались ли они в чем-либо, будучи посланы им во время оно для проповеди, хотя он не дал им ни обуви для защиты от терний и камней, ни сумы с припасами, чтобы они могли не опасаться голода. Когда апостолы ответили, что ни в чем не терпели нужды, он добавил: «Но теперь, кто имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай одежду свою и купи меч»³. Поскольку все христианское учение основано лишь на кротости, терпении и презрении к жизни, кому неясно, как следует понимать это место? Христос учил своих посланцев презирать все мирское до такой степени, чтобы они не только не помышляли о суме и обуви, но даже совлекли с себя одежду и приступили нагие и ничем не обремененные к дарам евангельским, ничего не имея, кроме меча, не того, конечно, которым действуют разбойники и убийцы, но меча духовного, проникающего в самую глубину груди и начисто отсекающего все мирские помышления, так что в сердце ничего более не остается, кроме благочестия. Но поглядите, прошу вас, как переиначил все это наш знаменитый богослов. Меч он толкует, как самозащиту против гонений, мешок — как

достаточный запас съестного. Как будто Христос переменял свои мысли на этот счет и, спохватившись, что недостаточно *по-царски* снарядил проповедников, взял обратно все преж-



ние свои наставления. Повидимому забыв, что еще совсем недавно провозглашал он блаженными тех, кого будут поносить и гнать, воспрещал противиться злу, обещал блаженство кротким, а не свирепым, ставил в пример воробьев и лилии, Христос теперь до такой степени старался снабдить своих учеников мечами,

что для приобретения их даже повелел продать одежду, как будто предпочитал видеть своих последователей лучше голыми, нежели безоружными. Разумея под словом «меч» все, что может служить для сопротивления насилию, богослов наш понимает слова о суме, как заповедь приобретать все нужное для поддержания жизни. Таким образом, этот толкователь божественных велений вооружает апостолов копьями, балистами⁴, пращами и бомбардами и в таком виде посылает на проповедь крестного распятия. Он даже спешит нагрузить их баулами и котомками, дабы не пришлось им, на худой конец, уйти с постоялого двора не пообедав. И не пришло в голову этому человеку, что меч, который надо было покупать за такую дорогую цену, Христос вскоре повелел вложить в ножны и что апостолы, сколько известно, никогда не обращались к мечам и щитам для обороны от насилия язычников, а они, конечно, не преминули бы сделать это, если бы так заповедал им сам Христос.

Есть еще другой богослов, которого я не назову по причине моего глубокого уважения к нему, а не потому, что боюсь греческой половицы. Он из палаток, о которых упоминает пророк Аввакум в стихе: «Сотряслись кожи шатров Мадямских»⁵, делает кожу, содранную со св. Варфоломея. Недавно я сама присутствовала на одном богословском диспуте, как это со мною часто бывает. Там некто задал вопрос, как же в конце-концов обосновать при помощи священного писания необходимость жечь еретиков огнем, а не переубеждать их при помощи сло-

вопрений? Тут поднялся один суровый старик, истый богослов, если судить по насупленным бровям, и крикнул во всю глотку, что так написано в законе. Апостол Павел сказал-де:



«Еретика после первого и второго вразумления отвращайся»⁶. По-латыни это будет: «*Hereticum hominem post unam et alteram correptionem devita*». Так как он несколько раз повторил эти слова с нарочитым подчеркиванием, то многие недоумевали, что такое стряслось с этим человеком, но он тотчас же пояснил, что еретиков

надлежит извергать из жизни (*de vita*). Кое-кто засмеялся, но немало, однако, нашлось и таких, которым подобное толкование показалось вполне богословским. Другие заспорили. Тогда выступил второй богослов, *грозный и страшный на вид*, писатель с непререкаемым авторитетом, и поддержал товарища: «Слушайте, — сказал он, — во Второзаконии написано: «А злодея того должно предать смерти»⁷. Всякий еретик есть злодей. Следственно и т. д.» Все изумились уму этого человека и примкнули к его мнению. И никому не пришло на ум, что закон этот относится только к гадальщикам, заклинателям и волшебникам, которых евреи на языке своем называют *мекашефим*, и что в противном случае пришлось бы карать смертью за блуд и пьянство.

ГЛАВА LXV.

Воистину глупо было бы приводить и далее подобные примеры, столь многочисленные, что не вместить их даже в книги Хрисипповы или Дидимовы¹. Я хотела лишь доказать, что ежели такие вольности разрешаются нашим божественным магистрам, то тем более позволительно мне, *богослову липовому*², допустить в цитатах кое-какие неточности. Итак, возвращаюсь к святому Павлу: «Ибо вы, — говорит он, — люди разумные, охотно терпите неразумных»³. К последним причисляет он самого себя. И далее: «Примите меня, хотя как неразумного», и «Что скажу, то скажу не в господе, а как бы в неразумии»⁴. И в ином месте: «Мы, — говорит, —

безумны Христа ради»⁵. Слышали, как хвалит глупость такой знатный писатель? Он даже провозглашает ее вещью самонужнейшей и полезнейшей. «Если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым»⁶. И у Луки Иисус называет «неосмысленными»⁷ двух учеников, которых повстре-



чал на дороге. Но еще удивительнее, что святой Павел приписывает глупость самому господу богу: «Немудрое божье, — говорит он, — мудрее человеков»⁸. Согласно толкованию Оригена⁹, «немудрое божье» не является таковым лишь во мнении людей. То же самое утверждает он и относительно следующего отрывка: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть»¹⁰. Впрочем, чего ради мне мучиться, подбирая столько свидетельств, если в боговдохновенных

псалмах сам Христос явно говорит отцу: „Ты знаешь безумие мое»¹¹.

Далеко не зря дураки столь угодны богу. Я полагаю, что это объясняется теми же причинами, по которым люди разумные бывают подозрительны и ненавистны великим государям. Цезарь страшился Юния Брута и Кассия, но не испытывал никакого страха перед Антонием¹²; Нерон ненавидел Сенеку, Дионисий — Платона. И напротив, монархи всегда жаловали людей невежественных и тупых. Так и Христос всегда ненавидел и осуждал *мудрецов*, кичащихся своим благоразумием. Об этом свидетельствует Павел, совершенно ясно говоря: «Но бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых»¹³. И далее: «Благоугодно было богу юродством проповеди спасти верующих»¹⁴, тогда как спасти их при помощи мудрости он не мог. И он сам недвусмысленно подтвердил это, возгласив устами пророка: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну»¹⁵. Он же восхваляет бога, скрывшего тайну спасения от мудрых и открывшего ее малым сим, иначе говоря—глупым. Но в греческом подлиннике вместо малых сих говорится о *неразумных*, которым противопоставляются *мудрецы*. В этом же смысле надо разуметь и то, что Христос в евангелии повсюду обличает фарисеев, книжников и законников и заботливо щадит невежественную толпу. Что иное означают слова: «Горе вам, книжники и фарисеи», — если не «Горе вам, мудрые». Всего больше любил он проводить время с детьми, женщинами и грешниками. Из различных пород животных по душе Христу были те, которые

всего далее отстоят от лисей хитрости. Ему угодно было воссесть на осла, тогда как он мог, если бы пожелал, безнаказанно оседлать и львиную спину. Дух святой снизошел на него в виде голубя, а не орла или коршуна. В Священном писании часто упоминаются молодые олени и ягнята. Вспомните также, что своих учеников, призванных к бессмертной жизни, Христос называет овцами. А между тем нет животного глупее овцы, ссылаюсь в том на Аристотеля, который утверждает, что по причине бестолковости этой скотины ее именем вместо брани называют людей глупых и тупоумных. И однако Христос провозгласил себя пастухом этого стада и даже радовался, когда его самого именовали агнцем. Указывая на него, Иоанн говорит: «Вот агнец божий»¹⁶ О том же многократно упоминается и в Апокалипсисе. Не доказывает ли все это, что все смертные — глупцы, в том числе и благочестивейшие. Сам Христос, хотя в нем воплотилась мудрость отца, стал тем не менее некоторым образом глу-



пым с целью помочь глупости смертных, ибо он усвоил человеческую природу и учинился во



всем подобным человеку. Равным образом стал он грешником, дабы уврачевать грех, и уврачевал он его не чем иным, как безумием креста при помощи глупых невежд—апостолов. Он усердно проповедывал неразумие и предостерегал против мудрости, указуя в виде примера детей, лилии, горчичное зерно и маленьких птичек—все существа глупые, чуждые здравого смысла, живущие по внушениям одной природы, без всяких забот и без всяких хитростей. Далее он запрещал своим ученикам обдумывать речи, которые они будут держать перед

судьями, не позволяя испытывать времена и сроки, очевидно, для того, чтобы они ни в чем не полагались на собственное свое суждение, но единственно на него одного уповали всею душою. В том же смысле разуметь должно и то, что бог, сотворив мир, не приказал вкушать от древа познания добра и зла, как будто познание—смертельный яд для блаженства. Так же и св. Павел открыто хулил знание, как вещь душевредную и ведущую к надменности. Я полагаю, что по его примеру св. Бернард назвал гору, на которой засел Люцифер, горою Познания. Быть может, не следует упускать здесь из виду и следующего довода: Глупость до такой степени угодна богу, что ради нее одной отпускаются все прегрешения. Люди мудрые отлично знают это, и хотя грешат с полным пониманием, но, умоляя о прощении, ищут покровительства Глупости и пользуются ею как отговоркой. Так Аарон, сколько помнится, в Книге чисел просит у Моисея помилования жене своей, говоря: «Господин мой, не поставь нам в грех, что мы поступили глупо и согрешили»¹⁷. Так и Саул оправдывается перед Давидом: «Безумно поступал я и очень много погрешал»¹⁸. И сам Давид так взывает к господу: «Ныне молю тебя, господи, прости грех раба твоего, ибо крайне неразумно поступил я»¹⁹. Он был уверен, что не получит отпущения грехов, если не сошлется на глупость свою и неведение. Но вот еще более разительное подтверждение моей мысли. Когда Христос молился на кресте за своих врагов: «Отче, прости им», он не нашел для них иного оправдания, кроме неразумия: «ибо не

знают, — сказал, — что делают»²⁰. Равным образом и Павел писал к Тимофею: «Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулиатель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по



неведению, в неверии»²¹. Но ведь «поступал по неведению» и значит — действовал по глупости, а не по злобе душевной. Бог признал апостола верным только потому, что тот прибег к покровительству Глупости. В мою же пользу свидетельствует и вдохновенный псалмопевец, о чем

я позабыла упомянуть в надлежащем месте: «Грехов юности моей и преступлений неведения моего не вспоминай»²². Заметьте пожалуйста, что он ссылается на два смягчающих обстоятельства: на юность, чьей подругою я всегда бываю, и на невежество. Обратите также внимание на то, что он говорит о преступлениях своего неведения во множественном числе, дабы мы тем лучше могли уразуметь всю огромную силу Глупости.

ГЛАВА LXVI.

Христианская вера сродни Глупости.

Не зарываясь в бесчисленные подробности, скажу кратко, что христианская вера, повидимому, сродни некоторому определенному виду глупости и совершенно несовместима с мудростью. Ежели хотите доказательств, то вспомните прежде всего, что ребята, женщины, старики и юродивые особенно любят церковные обряды и постоянно становятся всех ближе к алтарю, покорные велениям своей природы. Во-вторых, спрошу вас: кто такие были основатели христианства? Люди простые по уму своему, жестокие враги всякой учености. Засим, среди сумасшедших всякого рода наиболее безумными кажутся те, кого воодушевляет христианское благочестие. Они расточают свое имение, не обращают внимания на обиды, позволяют себя обманывать, не знают различия между друзьями и врагами, чураются всяких наслаждений, предаются постам, бдениям, трудам, презирают жизнь и стремятся единственно к смерти, ко-

ротко говоря, во всем действуют наперекор здравому смыслу, словно душа их обитает не в теле, но в некоем ином месте. Что такое все это, как не помешательство? Удивляться ли после того, что апостолов принимали порою за пьяных и что Павел показался безумным



судии Фесту ¹. Но поскольку я уже начала рассуждать, то продолжу и докажу вам, что блаженство, которого христиане мечтают достигнуть столькими мучениями и трудами, есть не иное что, как некая разновидность безумия. Не гневайтесь на мои слова и лучше постарайтесь уразуметь их. Во-первых, христиане согласны с последователями Платона в том, что душа человеческая связана узами тела, увязла в нем, словно в грязи, и именно поэтому неспособна

постигнуть истину и воспользоваться ею. Сам Платон определил философию как размышление о смерти, ибо подобно этой последней философия поднимает душу над видимыми, телесными вещами. Но мы привыкли называть человека здоровым, пока душа его пользуется по своему усмотрению телесными органами. Когда же она рвется из них прочь, словно из оков, и пытается обрести свободу, как бы замышляя побег из темницы, то мы называем такое состояние помешательством. Ежели сказанные явления вызваны болезнью либо расстройством телесных членов, то никто не усумнится в том, что это безумие. И однако мы видим, что люди, охваченные подобным безумием, предсказывают будущее, знают чужеземные языки и науки, которых никогда прежде не изучали, и вообще представляются во многих отношениях существами как бы божественными. Все это, без сомнения, приходится объяснить тем, что душа, частично освобожденная от давления тела, начинает пользоваться своей естественной силой. Здесь же, как я полагаю, таится и причина того, что умирающие, как бы вдохновленные божественным дуновением, изрекают порой поразительные вещи. Но если благочестие не вполне совпадает с вышеописанной разновидностью безумия, то все же столь близко граничит с нею, что большинство людей почитает набожность простым помешательством, особливо когда видит тех немногих, которые всей своей жизнью столь резко отличаются от прочих смертных. Совершенно подобным образом в известной аллегории Платона люди, сидящие скованными в пещере,

созерцают только тени и подобия вещей. Один из узников выбегает наружу, видит самые вещи и, воротившись обратно в пещеру, начинает проповедывать товарищам, что они заблуждаются и ничего не знают, кроме теней. Мудрец скорбит об их безумии, ибо они крепко держатся за свою ошибку. Они, в свой черед, издеваются над ним, как над помешанным, и изгоняют его. Совершенно таким же образом большинство людей, занятых одними телесными вещами, склонны думать, что ничего другого не существует. Напротив, благочестивые праведники презирают все, имеющее отношение к телу, и стремятся лишь к созерцанию невидимого мира. Одни прежде всего помышляют о собирании богатств, затем об удовлетворении своих телесных нужд и лишь в самую последнюю очередь о своей душе, если вообще допускают ее существование, ибо большинство верит только в то, что доступно глазу. Другие поступают как раз наоборот: прежде всего стараются угодить богу, существу простейшему из всех, и затем помышляют о своей душе, которая всего ближе к божеству, но небрегут о теле, презирают деньги, словно шелуху, и обращаются в бегство, лишь только их завидят. Ежели им иногда по необходимости приходится возиться с такого рода вещами, они делают это с усилием и скукой, относятся к своей собственности так, как будто она не принадлежит им вовсе. Даже в малых вещах разительно сказывается различие между людьми, живущими по уставам мира сего, и благочестивыми праведниками. Хотя все душевные способности зависят от тела, есть

между ними такие, которые кажутся грубее других. Таковы осязание, слух, зрение, обоняние, вкус. Другие способности гораздо более независимы, например, память, рассудок, воля. Отсюда следует, что душа бывает тем свободнее, чем



меньше внимания посвящает она внешним чувствам. Праведники, со всею силою устремляясь ко всему, что не имеет ничего общего с внешним миром, становятся тупыми и бесчувственными к телесным впечатлениям. И напротив, заурядные люди наибольшее значение придают внешним чувствам и наименьшее — внутренним. Этим объясняется между прочим и то, что многие святые мужи, случалось, пили масло вместо вина. Среди страстей и душевных чувствований есть также такие, которые кажутся совершенно телесными, как, например, плотское

вождедение, позывы к пище и ко сну, гнев, гордость, зависть. Праведники ведут с ними непримиримую войну, а толпа уверена, что без них и прожить невозможно. Кроме того, существуют еще и другие страсти, так сказать, нейтральные, кажущиеся естественными: таковы любовь к отечеству, нежность к детям, к родителям, к друзьям. Толпа платит всему этому немалую дань, но праведники всячески стараются изгнать из своей души все названные склонности или, по крайней мере, сообщают им духовный характер, так что даже отца своего любят уже не как отца, — ибо что он породил на свет кроме тела? — но как доброго человека, в котором отраженно сияет образ верховного разума, называемого ими верховным благом. Вне этого блага они не знают ничего достойного любви и стремлений. Тем же правилом руководствуются люди благочестивые и во всех прочих житейских делах. Ежели они не совсем презирают какую-либо видимую вещь, то все же ценят ее гораздо ниже того, что недоступно оку. Они различают плоть и дух даже в таинствах и в других церковных обрядах. Так, они не верят, в отличие от мирских людей, будто пост состоит только в воздержании от мяса и от вечерней трапезы, но проповедуют духовный пост, заключающийся в умерщвлении страстей, подавлении гнева, тщеславия и гордости, дабы душа, не удручаемая бременем плоти, могла с тем большей силой устремиться к познанию небесных вещей. Так же мыслят они и об евхаристии. Ежели обряд причастия, говорят они, не является вполне достойным презрения,

то все же он не столь полезен, как это обычно полагают. Он даже может сделаться вредным, если в нем не будет духа, т. е. воспоминания о тех событиях, которые изображаются при помощи чувственных знамений. Знамения эти напоминают нам о смерти Иисуса Христа, и христиане обязаны подражать этой смерти, связуя, умерщвляя и погребая свои страсти, дабы



воскреснуть для новой жизни. Соединяясь с Иисусом Христом, они должны в то же время соединяться друг с другом, дабы образовать единое тело, коего глава—спаситель. Такова жизнь, таковы постоянные помышления праведников. Напротив, толпа не видит в богослужении ничего, кроме обязанности становиться поближе к алтарю, прислушиваться к гудению голосов и глазеть на обряды. Не только в указанных мной для примера случаях, но и во всех обстоятельствах жизни убегает праведник от всего, что связано с телом, и стремится к вечному, невидимому и духовному. И поскольку отсюда рождаются постоянные несогласия между ним и большинством обыкновенных людей, он упрекает их в безумии, а они отвечают ему

тем же. Я же полагаю, что название безумца больше подобает праведникам, нежели толпе.

ГЛАВА LXVII.

Высшей наградой для людей является некий вид безумия.

Дабы это стало еще очевиднее, я, согласно моему обещанию, в немногих словах докажу, что награда, обещанная праведникам, есть не что иное, как некое помешательство. Еще Платон имел в виду нечто подобное, когда написал, что неистовство дарует влюбленным наивысшее блаженство. В самом деле, кто страстно любит другого, тот живет уже не в себе, но в любимом предмете, и, чем более он от себя удаляется с целью прилепиться к этому предмету, тем более ликует. Но когда душа считает себя покинувшей тело и уже не в силах бывает управлять телесными членами, то как прикажете назвать это, если не исступлением? Это подтверждают и общераспространенные поговорки: «Он вне себя». «Он вышел из себя». «Он пришел в себя». Далее, чем совершеннее любовь, тем сильнее неистовство и тем оно блаженнее. Какова же эта небесная жизнь, к которой с такими усилиями стремятся благочестивые души? Их дух, мощный и победоносный, должен поглотить тело. Ему тем легче осуществить это, что тело, очищенное и ослабленное всей предыдущей жизнью, уже подготовлено к подобному превращению. Засим и самый дух этот будет поглощен верховным духом как бесконечно

более могущественным, и тогда человек, будучи всецело вне себя, ощутит несказуемое блаженство и приобщится к верховному благу. Хотя



блаженство это может стать совершенным лишь в тот миг, когда усопшие души, соединившись с прежними своими телами, получают бессмертие, однако, поскольку жизнь праведников есть лишь тень вечной жизни и непрестанное размышле-

ние о ней, им позволено бывает заранее отвещать обещанной награды и обонять ее благоухание. И одна эта малая капля из источника вечного блаженства превосходит все телесные наслаждения в их совокупности и в ней одной сливаются воедино все утехи, доступные смертным. Вот в какой мере духовное превосходит телесное, а невидимое возвышается над видимым. Именно это обещал пророк, говоря: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил бог любящим его»¹. Такова эта частица божественной Мории, которая не отъемлетя при разлучении с жизнью, но, напротив, совершенствуется. Эта малая капля трижды блаженной Глупости, которую праведники вкушают здесь, на земле, видима бывает воочию среди скудного числа святых. Они уподобляются безумцам, говорят несвязно, не общепринятой человеческой речью, но издавая устами звуки, лишённые смысла. Они то веселы, то печальны, то льют слезы, то смеются, то воздыхают и вообще постоянно пребывают вне себя. Очнувшись, они говорят, что сами не знают, где были: в теле или вне тела, бодрствовали они или спали. Они не помнят, что слышали, что видели, что говорили, что делали. Все бывшее представляется им как бы в тумане или в сновидении. Зато они твердо знают, что были счастливы, пока безумствовали. Поэтому они скорбят о том, что снова образумились, и ничего другого не желают, как вечно предаваться этого рода сумасшествию. Таково это скудное предвкушение вечного блаженства.

ГЛАВА LXVIII.

Эпилог.

Но я позабыла, что уже давно посулила вам кончить мою речь. Ежели, по-вашему, сказала я что-нибудь излишне дерзновенное, то вспомните, что это сказано Глупостью и вдобавок женщиной. Не забывайте также греческой поговорки: «Часто и муж-глупец обронит меткое слово». Не знаю, впрочем, как по-вашему—относится это к женщинам или нет. Вижу, что вы ждете от меня послесловия. Но, воистину, вы весьма заблуждаетесь, если думаете, что я помню всю ту мешанину слов, которую рассыпала перед вами. В старину говорили: «Ненавизу памятливого сотрапезника». Я же скажу: «Ненавизу памятливого слушателя». Итак, будьте здоровы, рукоплещите, живите, пейте, достославные сопричастники Мории. *Конец!*



ПРИМЕЧАНИЯ

К предисловию Эразма.

1. *Томас Мор* (1478-1535)—английский государственный деятель, гуманист и писатель, автор первого утопического романа, появившегося в Европе в исходе средневековья и представляющего собою свободное подражание коммунистической утопии Платона. Самое слово *утопия*, вошедшее в языки всех цивилизованных народов, придумано Мором. Эразм близко подружился с ним еще в 1499 г. во время первого путешествия в Англию.

2. *Μωρία* — по-гречески глупость.

3. *Демокрит Абдерский* (род. ок. 470 г., умер ок. 380 г. до нашей эры)—один из замечательнейших мыслителей древности, основоположник философского материализма. По преданию, отличался веселым характером и был большим насмешником. Именно в качестве насмешника поминает его Эразм в своей книге.

4. *Лукиан* (род. ок. 125 г. на острове Самосе, умер после 165 г. в Египте)—талантливый греческий писатель, прозванный Вольтером древности, автор остроумных насмешек над народной религией своего времени. Лукиан был любимым писателем Эразма, который перевел ряд его диалогов на латинский язык.

5. *Батрахомиамахия* — буквально «Война мышей и лягушек», шутливая поэма, представляющая собой пародию на Илиаду. Она долгое время приписывалась Гомеру, хотя в действительности появилась значительно позже, повидимому, в IV в. до нашей эры.

6. *Вергилий Марон* (70—19)—прославленный латинский поэт Августа века, автор «Энеиды», национального эпоса римлян. Стихи о комаре лишь предположительно приписываются Вергилию и обычно помещаются в приложениях к его сочинениям.

7. *Овидий Назон* (род. в 42 г. до нашей эры, ум. в 17 г. нашей эры)—автор «Метаморфоз», «Искусства любить», «Тристий» и т. д. Эразм ошибочно приписывает ему

элегию об орехе, в действительности принадлежащую какому-то второстепенному латинскому стихотворцу.

8. *Исократ* (436-388) — знаменитый афинский учитель красноречия, написал в виде школьного упражнения похвальное слово легендарному египетскому тирану Бусириду.

9. *Главк* — софист, один из участников Платонова диалога «Республика».

10. *Фаворин Арелатский* — современник императора Адриана, преподаватель риторики и философии. *Терсит* — один из участников Троянской войны, изображается в Илиаде как человек крайне безобразный, трус в бою и язвительный спорщик в совещаниях царей с рядовыми воинами.

11. *Синезий* — уроженец города Кирены, в 410 году был избран епископом Птолемаидским. Написал на греческом языке шутивное похвальное слово лысине.

12. *Сенека* — римский философ-моралист I в. нашей эры, ярый приверженец стоической школы, воспитатель императора Нерона, по приказанию которого должен был покончить с собой; написал под видом похвального слова сатиру на Неронова предшественника, императора Клавдия.

13. *Плутарх* (ок. 46—120) — греческий историк и моралист, автор знаменитых биографий и многих других сочинений философского содержания. *Грилл* — один из спутников Уллиса, был превращен нимфой Цирцеей в свинью. Новое состояние так ему понравилось, что он отказался снова принять человеческий образ.

14. *Луций Апулей* (род. в африканском городе Мадавре около 125 г.) написал на латинском языке роман «Похождения осла», причем заимствовал сюжет и большую часть фабулы у Лукиана.

15. *Святой Иероним* (330—419) — уроженец гор. Стридо-на на Далматийском побережьи, автор многочисленных богословских трудов, переводчик Библии на латинский язык. Этот перевод, известный под именем «Вульгаты», доселе употребляется при богослужении в католической церкви. Эразм высоко ставил Иеронима как богословский авторитет и в 1516 г. издал в Базеле полное собрание его сочинений со своими комментариями. Шутивное завещание свиньи, о котором он упоминает в

тексте, было составлено для забавы школьников в III или в IV веке.

16. *Филавтия* — по-гречески самолюбие. Одна из спутниц Глупости, см. ниже, гл. IX.

17. *Децим Юний Ювенал* (56—132), римский поэт, нарисовавший в своих «Сатирах» беспощадно-смелую картину пороков римского общества императорской эпохи.

18. *Томас Мор* с успехом занимался адвокатской практикой в Лондоне, прежде чем был назначен канцлером казначейства в царствование Генриха VIII.

19. Повидимому, приведенная дата является простой опечаткой первого издания. Новейшие исследователи указывают 1509 или 1510 г. См. P. Nolhas «Erasme en Italie».

К главе I.

1. *Непента* — растение, которое, будучи примешано к вину, усиливало его опьяняющее действие. О нем упоминается в «Одиссее», песнь IV, ст. 220.

2. *Трофонива пещера* — намек на предание о пещере, в которой обитал вещий демон, изрекавший предсказания, большей частью печальные. Отсюда возникла пословица, приведенная Эразмом в его известном сборнике «Adagia»

К главе II.

1. Мифическому царю *Мидасу* пение лесного божества *Пана* пришлось более по вкусу, нежели пение Аполлона. Разгневанный бог наградил невежду парой ослиных ушей.

2. *Софисты* — представители крайнего скептического направления в греческой философии, которое с особенной силой проявлялось дважды: во второй половине V в. до нашей эры и во II в. нашей эры. Не веря в возможность абсолютной истины, софисты любили играть метафизическими и нравственными понятиями и с одинаковой легкостью отстаивали самые противоположные точки зрения. Значительное большинство их было профессиональными учителями красноречия.

3. *Солон* — личность историческая, но густо обросшая легендами. Жил во второй половине VII и в начале VI в.

до нашей эры. Считался одним из семи греческих мудрецов, дал новое устройство Афинской республике. Согласно представлениям древних греков и римлян, в лице Солона воплощался тип мудрого законодателя.

К главе V.

1. *София* — по-гречески мудрость. В христианском богословии Мудрость, перестав быть отвлеченным понятием, олицетворилась в виде некоего мистического существа, правящего миром.

2. *Фалес Милетский* жил предположительно между 624—548 гг. до нашей эры; родоначальник метафизической философии греков.

К главе VI.

1. *Двухязычными* называли богословов, одинаково свободно владевших греческим и латинским языками; *трехязычными* — тех, кто знал также древне-еврейский язык.

К главе VII.

1. Согласно древним теогоническим воззрениям, весь мир, в том числе сами верховные боги, родился из первобытного *Хаоса*.

2. *Орк* — бог подземного мира, в переносном смысле местопребывание душ усопших.

3. *Сатурн* (у греков *Хронос*) — олицетворение Времени, отец миродержавного бога Зевса-Юпитера.

4. *Япет* — отец титанов Атланта, Прометея и Эпиметея.

5. *Плутос* — по-гречески богатство, в данном случае бог богатства.

6. *Гезиод* — греческий поэт, обычно сопоставляемый с Гомером, жил около 776 г. до нашей эры. Его главное произведение «Труды и дни» является одним из важнейших источников для знакомства с мифологией и религией греков.

7. *Хромой кузнец* — Вулкан, у греков — Гефест, бог-покровитель кузнечного мастерства.

8. *Аристофан* (род. около 444 г., умер между 386 — 380 гг. в Афинах) — величайший из комических авторов древности. Автор комедий замечательных по остро-

умию, смелости и поэтической силе. Из общего числа 44 комедий Аристофана до нас дошло лишь 11, в том числе «Плутос», где автор выводит на сцену олицетворенное Богатство в виде расслабленного и выжившего из ума старика.

К главе VIII.

1. *Молия и панацея* — целебные растения.

2. *Адонис* — малоазиатское божество, культ которого был в более поздние времена занесен в Грецию. Мифы изображают Адониса в виде прекрасного юноши, растерзанного кабаном. Из его крови, пролившейся на землю, выросла первая роза.

3. *Кронид* — Зевс-Юпитер, сын Хроноса (отсюда патронимическое прозвище Кронид), был вскормлен на острове Крите козой Амалтейей.

К главе XI.

1. *Стоики* — одно из важнейших направлений античной философии, возникшее в Греции, но особенно распространившееся в Риме в императорскую эпоху. Стоики подробно разработали все отделы философии начиная с логики и физики, но Эразм в данном случае имеет в виду их моральную доктрину, сводившуюся к проповеди беспощадного подавления не только страстей, но и всех вообще естественных чувств и стремлений, поскольку они не согласованы с разумом.

2. *Числа Пифагоры*. В учении Пифагора, греческого мыслителя, жившего в VI в. до нашей эры, а в еще большей степени у его последователей, большую роль играли математические представления, которым сообщался тайнственный мистический смысл. Пифагорейцы верили в переселение душ и проповедывали, а отчасти и применяли на практике в своих общинах, напоминающих позднейшие монастыри, отказ от всякой личной собственности.

3. *Тит Лукреций Кар* (род. в 99 или 95 г., ум. в 55 или 51 гг. до нашей эры) — знаменитый латинский поэт. Свою поэму «О природе вещей» он начинает воззванием к Венере, которую именует «услугою богов и людей»

К главе XII.

1. *Софокл* (495—405) — великий трагический поэт Периклова века. Эразм ссылается на его трагедию «Аянт Биченосец».

К главе XIII.

1. *Тит Макций Плавт* (род. в 254 г., ум. в 184 г. до нашей эры) — виднейший из комических писателей древнего Рима.

2. *Нестор* — старейший из греков, осаждавших Трою; славился своей мудростью, добродушием и красноречием. О «меде его речей» см. «Илиада», песнь I, ст. 249.

3. Там же, песнь III, ст. 152.

4. *Одиссея* — песнь XVII, ст. 218.

К главе XIV.

1. *Морионы* — последователи Мории.

2. *Акарнания* — северная окраина Греции, граничащая с Эпиром, славилась свиноводством.

3. Здесь имеется в виду следующая голландская пословица: *Hoe onder, hoe zotter Brabander, hoe ouder, hoe botter Hollander* (чем старше, тем глупее брабантец, чем старше, тем тупее голландец).

4. *Медея* — дочь колхидского царя Эета и богини Гекаты, появляющаяся в цикле преданий об аргонавтах; считалась могущественной колдуньей.

5. *Цирцея* — дочь бога солнца Гелиоса, морская русалка и злая волшебница.

6. *Тифон* — титан, сын подземного божества Тартара и богини земли Гейи, отец великана Мемнона и дед Авроры, богини утренней зари.

7. Знаменитая древнегреческая поэтесса *Сафо*, уроженка острова Лесбоса, жила в конце VII и в первой половине VI в. до нашей эры. Она влюбилась в прекрасного юношу *Фаона* и, не встретив взаимности, бросилась в море со скалы. В другом, аналогичном, предании Фаон отождествляется с Адонисом-Фаоном, любимцем Афродиты, получившим в дар от богини вечную молодость.

К главе XV.

1. *Дионисий Пакс*—греческий бог виноделия, отождествляемый с латинским Бахусом. Осенний сбор винограда сопровождался играми и потехами в честь Диониса. Из чего позднее развились театральные представления. Согласно мифу, мать Диониса, Семела, была сожжена молнией, а сам он родился из бедра Зевса.

2. *Горгона*—чудовищный дракон, убитый героем Персеем, который принес свою добычу в дар Палладе. Поэтому эта богиня обычно изображается с уродливой маской Горгоны на щите.

3. *Флора*—римская богиня весеннего произрастания цветов; ее культ сопровождался сладострастными обрядами.

4. *Диана-Артемиды*—девушечья богиня охоты, влюбилась в красавца-юношу Эндимиона.

5. *Мом*—сын Ночи, бог злословия.

6. *Ата*—дочь Зевса, богиня, олицетворяющая ослепление, которое ведет к греху и гибели. О ней см. *Илиада*, песнь XIX, ст. 91.

7. *Приап*—бог-покровитель садоводства, пчеловодства и огородничества, в более поздние времена чтился как божество сладострастия.

8. *Меркурий*—у греков Гермес, бог торговли, воровства и красноречия.

9. *Силен*—один из спутников Вакха.

10. *Полифем*—одноглазый великан, ослепленный Одиссеем.

11. *Ателланские фарсы*—названы по имени города Ателла в Кампании, где появились впервые. Под этим именем известны народные драматические представления, устраивавшиеся в древнем Риме. По своему содержанию они отличались резкой непристойностью. Их необходимым элементом была пляска ряженых, переодетых сатирами.

12. *Гарпократ*—египетское божество, олицетворявшее восходящее солнце. Его изображали с косой на голове и с пальцем правой руки во рту—знак младенчества. Греки, не поняв значения этого жеста, сочли Гарпократа богом молчания.

К главе XVI.

1. В римской унции содержится 480 гран,

К главе XVII.

1. *Платон* (род. в Афинах между 430 и 428 гг. до нашей эры) — величайший из философов древности, автор знаменитых *Диалогов*, в которых заставлял своего наставника Сократа беседовать с друзьями о различных вопросах, касающихся логики, психологии, метафизики, морали, государственного устройства и т. д. Сочинения Платона замечательны как по глубокомыслию содержания, так и по своей изящной, остроумной форме.

К главе XVIII.

1. *Застольные обряды XVI в.* были весьма сложны и затейливы, особенно в Англии и в Нидерландах. Обряд чествования короля попойки изображен на известной картине Иорданса, хранящейся в Государственном Эрмитаже.

2. *Семь греческих мудрецов* — наполовину легендарные законодатели и философы, жившие в VII и VI вв. до нашей эры, а именно — Питтак Митиленский, Солон Афинский, Клеовул Родосский, Периандр Коринфский, Хилон Спартанский, Фалес Милетский и Биас Приенский.

К главе XIX.

1. *Крокодилиты, сориты* и т. д. — различные формы умозаключений, принятые в схоластической логике.

2. *Змей Эпидаврский* — чудовище, отличавшееся своей зоркостью.

К главе XXII.

1. *Нирей* — красивейший из греков, бывших под Троей.

2. *Фракия* — в древности область, занимавшая северную часть нынешнего Балканского полуострова и представлявшаяся совершенно варварской по сравнению с цивилизованной Грецией.

К главе XXIII.

1. *Демосфен* (384-322) — афинский государственный деятель, знаменитейший оратор древнего мира, своими речами пытался возбудить Грецию для борьбы с Филиппом Македонским и его преемниками — Алексан-

дром и Антипатром; после окончательного поражения греческих ополчений принял яд, не желая живым достаться в руки врагов.

2. *Аргиллох* (род. в 688 г. до нашей эры) — греческий сатирический поэт, бежал с поля битвы во время столкновения фракийцев с фазийцами, о чем непринужденно рассказывает в одном из своих стихотворений.

К главе XXIV.

1. *Сократ* (469—399) — афинский мудрец, учитель Платона и Ксенофонта, сочинениям которых он обязан своей славой, ибо сам ничего не написал. Обвиненный в развращении юношества и в попытке ввести в Афинах почитание новых божеств, он был осужден выпить кубок с соком ядовитого растения, называемого цикутой.

2. *Теофраст* (371—286) — греческий ученый, считающийся основателем ботаники и минералогии, ученик Платона и Аристотеля, автор книги «Характеры», составленной как руководство для актеров при изображении различных пороков и комических свойств. Нужно заметить, что вопреки Эразму Теофраст считался превосходным оратором.

3. *Марк Туллий Цицерон* (106—43) — знаменитый оратор и государственный деятель, прозванный отцом римского красноречия, оставил много политических и судебных речей, философских трактатов и богатое собрание писем. Слог его считался образцовым. В эпоху Возрождения Цицерон был самым любимым и популярным из латинских писателей после поэта Вергилия.

4. *Катоны*: 1) *Марк Порций Катон Старший* (234—149) занимал в Риме должность цензора, славился как непреклонно строгий блюститель заветов старины и враг греческой образованности; в заседаниях Сената в течение многих лет упорно настаивал на необходимости разрушить Карфаген. 2) *Марк Порций Катон Младший*, иначе называемый Утическим, правнук предыдущего (95—46), один из последних бойцов за римскую республику против диктатуры Юлия Цезаря; покончил с собой, узнав о поражении республиканских войск в битве при Тапсе. В отличие от своего предка, Катон Млад-

ший был большим поклонником эллинской философии и умер, читая диалог Платона «Фэдон».

5. *Марк Юний Брут* (79—49 до нашей эры) вместе со своим родственником *Децием Юнием Брутом*, *Кассием* и другими римскими вельможами участвовал в заговоре, закончившемся убийством *Юлия Цезаря*. Вынужденный покинуть Рим, он пытался поднять знамя восстания в Малой Азии и на Балканском полуострове, но был разбит *Октавием* и *Антонием* в сражении под *Филиппами* и бросился на собственный меч. Несколькими днями раньше та же судьба постигла и *Кассия*.

6. *Гракхи* — братья *Тиверий* и *Кай*, были народными трибунами в Риме — первый в 133 и второй в 122 г. до нашей эры; пытались провести так наз. аграрный закон о разделе между римской сельской беднотой государственных земель, захваченных оптиматами, но были побеждены в партийной борьбе и убиты своими противниками.

7. *Марк Аврелий Антонин* — римский император, царствовал в 161—180 гг. нашей эры, ревностный последователь стоической философии, автор трактата на греческом языке «К самому себе», где излагается мораль стоиков. Умирая *Марк Аврелий* передал престол своему сыну *Коммоду*, развратному, полусумасшедшему деспоту.

К главе XXV.

1. *Тимон* — действующее лицо одного из диалогов *Лукиана*, переведенного *Эразмом*. *Тимон*, богатый афинянин эпохи Пелопоннесской войны, разорился, пируя с друзьями, которые немедленно от него отвернулись. Под влиянием этого удара *Тимон* стал человеконенавистником и поселился в полном уединении.

К главе XXVI.

1. *Амфион* — строитель города *Фив*, передвигавший камни звуками своей лиры. *Орфей* — мифический герой, обладавший столь прекрасным голосом, что пением увлекал за собою деревья и укрощал диких зверей.

2. В 494 г. до нашей эры борьба классов в Риме обострилась до такой степени, что плебеи с консулом *Аппием Клавдием* во главе вышли из города и удали-

лись на «Священную гору» на берегу Тибра. Патриций *Менений Агриппа*, избранный послом от сената к мятежникам, сумел их успокоить, рассказав басню о том, как члены человеческого тела взбунтовались против желудка и как все они при этом одинаково пострадали.

3. *Фемистокл* — греческий военачальник и политический деятель эпохи греко-персидских войн. Желая успокоить афинский народ, возмущавшийся злоупотреблениями должностных лиц, он рассказал следующую басню. Лиса увязла в болоте и не могла двинуться. Комары облепили ее. Еж, сжавшись над лисою, хотел согнать комаров, но она сказала: «Оставь. Эти уже напились моей крови; если ты сгонишь их, налетят другие, голодные и потому более жадные».

4. *Квинт Серторий* — римский полководец I в. до нашей эры, сторонник демократической партии. Во время диктатуры Суллы отложился от Рима и в течение нескольких лет удерживал Испанию, возглавляя армию, состоявшую из римских изгнанников и наемных солдат. Победенный Помпеем, он был изменнически убит в 72 году. С целью держать в повиновении своих солдат, Серторий распустил сказку о том, что ручная белая лань, находившаяся в его лагере, прислана ему богиней Дианой. Он же однажды, желая доказать своим сторонникам необходимость единодушия, приказал молодому, сильному воину вырвать хвост у старой клячи. Тот исполнил это с великим трудом. Тогда Серторий приказал дряхлому старику сделать то же самое с великолепным, могучим конем, и старик легко выщипал по волоску весь хвост.

5. *Ликург* — наполовину легендарный законодатель Спарты, жил в конце XI и в начале X в. до нашей эры. Стремясь убедить своих сограждан принять предложенную им реформу воспитания юношества, он выкормил двух щенков одной и той же собаки таким образом, что один стал ленивым и прожорливым, а другой живым и проворным. Когда щенки подросли, Ликург созвал спартанских старейшин и показал им своих питомцев. Тут же находились живой заяц и горшок с похлебкой. Лишь только оба пса были спущены с привязи, один тотчас же бросился к горшку, а второй погнался за зайцем. Пример оказался столь убедительным, что реформа была принята.

6. *Минос* — мифический законодатель острова Крита, где он установил учреждения, подобные спартанским.

7. *Нума Помпилий* — второй по счету царь древнего Рима, личность более чем наполовину мифическая, по преданию увеличил число божеств, построил много храмов, установил богослужebные и гадательные обряды и т. д. При этом он утверждал, что действует по внушениям нимфы Эгерии, открывавшей ему волю богов.

К главе XXVII.

1. *Деции* — римский патрицианский род, которого три поколения подряд погибли в боях за республику: отец — в 342 году под Везерисом, сын — в 295 году под Сентинумом и внук — в 279 году до нашей эры под Аскулумом.

2. В 362 году до нашей эры посредине римского форума появилась трещина неизмеримой глубины. Прорицатели объявили, что она должна быть заполнена, иначе город постигнут великие несчастья, заполнить же ее можно лишь самым драгоценным, что есть в Риме. Тогда юноша *Марк Курций*, со словами: «нет в Риме ничего драгоценнее оружия и храбрости» сел на коня и в полном вооружении бросился в расщелину, которая тотчас же сомкнулась.

К главе XXIX.

1. *Алкивиад* (451 — 404) — афинский государственный деятель, друг Сократа; в некоторых Платоновых диалогах он выступает как собеседник этого мудреца.

2. *Хорег* — иначе хороустроитель; так назывались богатые афинские граждане, принимавшие на себя издержки по устройству театральных представлений и руководившие актерами.

К главе XXX.

1. *Скилы Марпезийские* — находились на острове Паросе в греческом Архипелаге.

К главе XXXI.

1. Римский писатель II в. нашей эры *Авл Геллий* в своем сочинении «Аттические ночи» рассказывает, что на острове Милете среди местных девушек происходила массовая эпидемия самоубийств.

2. *Диоген Синопский* (414—323) — цинический философ, подвизавшийся в Афинах, герой многочисленных анек-

дотов. Между прочим, про него рассказывали, будто он умер оттого, что умышленно задерживал дыхание.

3. *Ксенократ Халкидский* (396—314) — ученик Платона, глава философской школы, получившей название Академии.

4. *Хирон* — кентавр, сын морского бога Посейдона, славился мудростью и глубоким познанием природы, был воспитателем Аполлона и бога врачебного искусства Асклепия, а также прорицателя Тересия, Ахилла и многих других героев греческого эпоса. Он мог остаться бессмертным, но погиб благодаря своей любознательности, так как пожелал испытать на себе действие яда Лернейской гидры.

5. Согласно греческой легенде, титан *Прометей* создал первых людей из глины.

6. *Парки* — вещие старицы, богини судьбы, прявшие нить человеческой жизни.

К главе XXXII.

1. *Палестра* — площадка для гимнастических упражнений в древней Греции.

2. *Тевт* — мифический изобретатель цифр и арифметических действий, геометрии, астрономии и азбуки.

3. *Халдеи* — жители древнего Вавилона, где впервые возникла наука о звездах.

К главе XXXIV.

1. О превращениях *петуха*, в тело которого вселилась душа философа Пифагора, рассказывает *Лукиан* в одном из диалогов, переведенных Эразмом.

К главе XXXV.

1. См. примечание 13 к предисловию Эразма.

2. *Энтимема* — изречение, имеющее два или три различных смысла.

К главе XXXVI.

1. *Эврипид* (480—401) — младший из трех великих трагических поэтов древней Греции. Эразм ссылается на его трагедию «Вакханки».

К главе ХХVІІІ.

1. *Павсаний*, участник Платонова диалога «Пир», устанавливает различие между земной и небесной Афродитой, иначе говоря, между грубо телесным физическим влечением и возвышенной, идеальной любовью.

2. *Гораций* — Третья книга од, IV, 5.

3. *Эней* — главный герой поэмы Вергилия «Энеида», легендарный предок народа римского.

4. *Помпоний Атик* — богатый римский вельможа, друг Цицерона.

5. *Гораций* — Вторая книга посланий, II, 133 и 138.

К главе ХХХІХ.

1. *Пенелопа* — жена Одиссея, неизменно хранившая верность в течение двадцати лет, пока ее супруг осаждал Трою и затем скитался по морям. Осаждаемая женихами, Пенелопа объявила, что вступит в новый брак не прежде, чем закончит ткань, над которой работала. Над этой тканью она трудилась очень усердно, но по ночам распускала сотканное за день.

2. *Киннамон* — благовонное вещество, упоминаемое в Библии.

3. Согласно воззрениям старинной физики, мир разделялся на четыре стихии — огонь, воду, землю и воздух. Алхимики усиленно разыскивали *пятую стихию* или так наз. философский камень, якобы дающий возможность превращать неблагородные металлы в благородные.

4. Стих *Секста Проперция*, латинского поэта I в. до нашей эры.

К главе ХL.

1. *Ларвы* — у древних римлян злые духи, которые мучили души грешников в подземном царстве и пугали живых. Позднее их отождествили с *лемурами* — душами умерших людей, среди которых различались *лары* (добрые души), *ларвы* (злые души) и *маны* (души не добрые и не злые). Ларвы обычно изображались в образе скелетов или уродливых существ страшной худобы.

2. *Св. Христофор* изображался на иконах человеком исполинского роста, и потому Эразм сопоставляет его с великаном Полифемом.

3. *Св. Эразм* — был епископом Сиррийским в царствовании императора Адриана. Его мощи до сих пор показывают верующим в итальянском городке Гаэте.

4. *Ипполит* — сын афинского царя Тезея и амазонки Антиопы, божественно прекрасный юноша, влюбившийся в свою мачеху Федре. Проклятый отцом, он погиб, упав на камни с колесницы, которую понесли взбесившиеся кони.

5. *Клепидра* — древние военные часы.

6. *Св. Бернард Клервосский* (ум. в 1153 г.) — один из «отцов» западной церкви. В его житии рассказывается, что к нему явился дьявол и похвастался, будто знает семь стихов из Псалтыри, обладающих такой спасительной силой, что человек, читающий их ежедневно, непременно попадет в рай. Так как злой дух отказывался указать спасительные стихи, то Бернард сказал ему: «Это тебе не поможет. Я ежедневно буду прочитывать всю Псалтырь, и тебе же будет хуже». Убежденный столь неотразимым доводом, демон открыл святому свой секрет.

К главе ХLI.

1. Стихи эти представляют собою пародию на следующий отрывок из *Энеиды*:

Если б имела я сто языков и железное горло,
То и тогда б не могла злодеяния эти исчислить
И описать до конца все великое множество
казней.

Песнь VI, ст. 625 — 627.

2. *Эдилы* — должностные лица в древнем Риме, избравшиеся народом для надзора за рынками и устройства цирковых игр.

К главе ХLII.

1. *Артур* — легендарный король Британии, центральная фигура в цикле сказаний о рыцарях Круглого стола.

2. *Эвклид* — александрийский математик III в. до нашей эры, отец начертательной геометрии.

3. *Гермоген* — замечательный певец, о котором Гораций упоминает в одной из своих сатир.

К главе XLIII.

1. Среди всех богословских факультетов Европы наибольшим значением пользовалась парижская *Сорбонна*, не однажды противопоставлявшая свои заключения даже авторитету римских пап.

К главе XLV.

1. *Академики* — ученики Платона — Спевзипп, Ксенократ, Полемон и Крантор, собиравшиеся для бесед в окрестностях Афин, в роще, названной по имени героя Академоса.

2. *Оратор* — в подлиннике *clamator* (крикун) вместо *declamator*.

3. *Апеллес и Зевксис* — два самых известных живописца цветущей поры древней Греции.

4. *Томас Мор* — соименник Мории.

5. *Платонова пещера*. В диалоге Платона «Республика» Сократ сравнивает заурядных людей с узниками, которые заключены в темной пещере, освещаемой слабым светом, проникающим снаружи. Перед пещерой проходят люди и животные, проносятся различные предметы, но заключенные видят не их, а только их тени, пробегающие по спине. Мудрец же, выбравшись из пещеры, созерцает самые вещи.

К главе XLVI.

1. *Семь мудрецов* — см. примечание 2 к гл. XVIII.

2. *Вейовы* — зловредные божества, о которых упоминает Авл Гелий. *Фебры* — семь сестер-лихорадок, в славянской мифологии называемые Трясовицами.

К главе XLVIII.

1. См. конец примечания 2 к гл. XI.

2. *Сант Яго* — городок в испанской провинции Галиции, где хранятся мощи апостола Иакова, покровителя Испании. Мощи эти, почитаемые чудотворными, привлекали множество богомольцев.

3. *Менипп* — действующее лицо древнегреческой народной сказки, забрался на луну по стеблю бобового растения.

К главе XLIX.

1. Нарисованная Эразмом неприглядная картина верно воспроизводит повседневный быт огромного большинства школ в эпоху Возрождения, особенно же в странах, расположенных к северу от Альп. Одной из важнейших заслуг нашего писателя были его попытки реформировать варварскую педагогику того времени.

2. *Куманский осел*, о котором гласит пословица, включенная Эразмом в его сборник «Adagia», соответствует крыловскому «Ослу на воеводстве».

3. *Амараковый смрад*, от амарака — горького растения с неприятным запахом.

4. *Палемон*, преподававший в Риме в царствование императоров Тиверия и Клавдия, считался первым грамматиком своего времени и был известен необычайной самонадеянностью. *Эний Донат* — римский ритор IV в., учитель св. Иеронима, автор грамматического учебника, бывшего во всеобщем употреблении в средние века.

5. *Анхиз* — отец Энея. В поэме Вергилия он изображается дряхлым старцем, так что имя его матери не может никого интересовать, кроме завзятых педантов.

6. *Bubsecqua* — вместо *bubulcus* — волопас. *Bovinator* — вместо *tergiversator* — человек, уклоняющийся и увиливающийся. *Manticulator* — тот, кто шарит у себя в суме или в кошельке, пересчитывая деньги. Все эти три слова чрезвычайно редко встречаются у латинских авторов.

7. *Альд Мануций* (род. в Риме в 1448 г.) впоследствии переселился в Венецию, где основал в 1485 г. знаменитую типографию, издавшую тексты почти всех важнейших древних авторов. Эразм во время путешествия по Италии пользовался гостеприимством Альда, но остался, по видимому, не совсем доволен скупостью своего хозяина и поэтому задел его в своей сатире.

К главе L.

1. Анонимное произведение латинского ритора, изложившего основные начала ораторского искусства.

2. *Марк Фабий Квинтилиан* (род. в 35 г., ум. в конце I или в начале II в. нашей эры) — римский педагог и теоретик ораторского искусства, автор капитального рассу-

ждения в 12 книгах «Об ораторском образовании». Сочинение это послужило главным руководством для всех последующих латинских учителей красноречия.

3. В трактате Цицерона об ораторском искусстве *Персий* и *Лелий* названы как безусловные знатоки, мнением которых обязан дорожить всякий оратор.

4. *Телемак* — сын Одиссея, *Лаэрт* — отец его, *Стелен* — товарищ царя Диомеда, упоминаемый в Илиаде, *Полукрат* — тиран острова Самоса, *Тразимах* — афинский софист V в. до нашей эры.

5. *Алкей Митиленский* — один из величайших греческих лириков, жил на рубеже VI и VII вв. до нашей эры, автор застольных, любовных и политических од.

6. *Каллимах* (род. ок. 310, ум. ок. 235 г. до нашей эры), греческий ученый, литературный критик и поэт; хранитель Александрийской библиотеки, величайшего из книгохранилищ древнего мира.

7. *Энеида*, песнь II, 39.

8. История знает нескольких *Сципионов*. Здесь подразумевается Публий Корнелий Сципион Старший, — герой второй Пунической войны, победитель Ганнибала, удостоившийся блистательного триумфа.

К главе LI.

1. *Сизиф* был осужден богами за свое преступление вечно катить на адскую гору чудовищно тяжелый камень, то и дело срывающийся вниз.

2. *Глоссы* — толкования средневековых юристов к положениям римского права. В судебной практике позднейших столетий они имели обязательную силу наряду с самым законом.

3. *Медь Додонская*. При храме Зевса в Додоне стояли два столба, на одном из которых помещалась статуя мальчика с железным бичом, а на другом, — медная чаша, о которую при малейшем движении воздуха ударялся бич. Поэтому «говор меди Додонской» дьялся почти непрерывно.

4. *Стентор* — царский глашатай в Илиаде, обладавший необычайно сильным голосом.

К главе III.

1. *Дефиниции* — определения, *конклюдии* — заключения, *королларии* — соотнесительные выводы, *пропозиции* — утверждения или предложения. Эти термины оставлены в тексте без перевода, дабы лучше воспроизвести варварский язык схоластиков.

2. *Вулкановы узы*. Бог Вулкан желавший уличить в неверности свою супругу Венеру, которая изменяла ему с богом войны Марсом, соорудил железные тенета, куда и попались любовники, возлежавшие на ложе в объятиях друг у друга.

3. *Обоюдоострая секира*, хранившаяся в храме Зевса на острове Тенедосе. В древности пословица о Тенедоской секире применялась к людям, склонным категорически разрешать самые запутанные вопросы.

4. *Линкей* — участник похода Аргонатов в Колхиду за золотым руном, славился своей зоркостью.

5. *Реалисты и номиналисты* — два важнейших направления в схоластической философии. *Реалисты* признавали отвлеченные понятия действительно существующими, *номиналисты*, напротив, полагали, что существуют лишь отдельные предметы, а в понятиях видели простые абстракции. Далее следует перечисление важнейших богословских школ: *фомисты* — последователи Фомы Аквината (1225 — 1274), авторитетнейшего из католических богословов средневековья; *альбертисты* — сторонники взглядов Альберта Великого (1193—1280), прозванного «доктором универсальным», который первый ввел на Западе изучение Аристотеля при занятиях богословием и, кроме того, явился одним из основателей алхимии; *оккамисты* — ученики Вильгельма Оккама (ум. в 1347 г.), виднейшего представителя номиналистической школы; *скотисты* — последователи шотландца Дунса Скота (1265—1308), одного из столпов реализма, прозванного «доктором утонченным».

6. *Послание к Евреям I, 11*.

7. *Terminus a quo* — исходный пункт логического рассуждения; *terminus ad quem* — конечный пункт логического рассуждения.

8. *Скотиды* — вместо скотисты. Здесь греческий каламбур: *Skótos* — мрак; поэтому *skotídai* значит — сторонники мрака.

9. *Догмат беспорочного зачатия богородицы* был одним из боевых вопросов богословия в XV в. и едва не привел к открытому расколу. Фомисты признавали этот догмат, а скотисты яростно его отрицали.

10. *Евангелие от Иоанна, IV, 24.*

11. *Субстанция* — сущность, обладающая самостоятельным бытием; *акциденция* — случайный признак субстанции, самостоятельного бытия не имеющий.

12. *Хрисипп* (282—208 до нашей эры) — уроженец Киликии, приверженец стоической школы, славился в качестве тонкого диалектика.

13. *Св. Иоанн Златоуст* (347—407) — знаменитейший церковный оратор, главным образом подвизался в Антиохии, но одно время был архиепископом Константинопольским, где, несмотря на покровительство императрицы Евдокии, нажил множество врагов резкостью своих обличений. Ему принадлежит ряд проповедей с толкованием текстов Библии и Евангелия.

14. *Св. Василий Великий* (330—379) — епископ Кесарийский, один из «отцов» восточной церкви, автор многочисленных проповедей, литургий и монастырских уставов,

15. *Quodlibetum* — заглавие одного произведения Дунса Скота.

16. *Ткань Пенелопы* — см. примеч. 1 к гл. XXXIX.

17. *Атлант* — титан, поддерживавший на своих плечах свод небесный.

18. Приведенные выражения по смыслу совершенно тождественны и различаются только грамматической структурой, что не помешало им быть предметом ожесточенных препирательств между богословами Оксфордского университета.

19. *Иудейская тетраграмма*, т. е. четырехбуквенное начертание на еврейском языке таинственного имени Божьего Ягве (Иегова).

К главе LIV.

1. *Вервеносцы* — монахи ордена, основанного Франциском Асизским в XIII веке. *Колеты* — монахини монастырей, ведущих свое начало от Пикардской святой Колеты (1380—1447). *Миноры* (младшие братья) — те же францисканцы, придерживавшиеся более строгого уста-

ва, иначе называемые *обсервантами* или *буллистами*. *Минимы* (самые младшие братья) — монахи ордена, основанного св. Франциском Пауланским в конце XIV в. *Бенедиктинцы* — орден, основанный св. Бенедиктом Нурсийским в VI в. *Бернардинцы* — те же бенедиктинцы, приписанные к Цисторианскому аббатству, где игуменом был св. Бернард. *Бригиттинцы* — последователи св. Бригитты. *Августинцы* — орден, основанный в XIII в. и названный в честь блаженного Августина. *Вильгельмиты* — монахи ордена, основанного Вильгельмом, герцогом Аквитанским в XII в. *Якобиты* — они же доминиканцы, монахи ордена, основанного св. Домиником в XIII в. Они назывались якобитами, потому что им принадлежала часовня св. Иакова в Париже.

2. *Абраксазии* — христианская гностическая секта, основанная в царствование императора Адриана Василидом, который проповедывал о существовании 365 небес.

3. *Горацій*, Сатиры, кн. вторая, VII, 21.

4. *Ниобея* — дочь Тантала, супруга фиванского царя Амфиона, обратилась в камень после того, как Аполлон и Артемида умертвили ее детей.

5. *Канидия* и *Сагана* — две римские колдуньи, о которых упоминает Горацій. Сатиры к н. I, VIII.

6. «*Историческое зеркало*» — сочинение, составленное в XIII в. монахом Винцентом из ордена проповедников. Оно распадается на четыре части, и истории посвящена только 4-я, последняя, часть. Рассказ о событиях доведен в нем до 1244 г. «*Римские деяния*» — анонимное сочинение, появившееся тогда же или немного позже в Англии. Обе эти книги наполнены нелепыми вымыслами, что впрочем не помешало им иметь множество читателей и распространяться в огромном количестве списков.

7. Известное дидактическое стихотворение Горация «О поэтическом искусстве» начинается тем стихом, начало которого цитирует Эразм:

«Если к главе человеческой приставить конскую выю»...

8. *Св. Антоний Египетский* — основатель пустынножительства (ум. в 356 г.).

К главе LVI.

1. *Феаки* — одно из племен древней Греции, отличавшееся своим невежеством. Стих, о котором говорит Эразм, находится в первой книге Горациевых Посланий II, 28. В нем женихи Пенелопы характеризуются как лентяи и бездельники.

К главе LIX.

1. *Послание к Римлянам*, XVI, 18.

2. *Евангелие от Матфея*, XIX, 27.

3. Весьма смелый по своему времени намек на Джулиано дела Ровере, занимавшего папский престол под именем Юлия II в эпоху написания «Похвального слова Глупости».

К главе LX.

1. *Регулярными* назывались священники, которые соблюдали монастырский устав, хотя и не принадлежали ни к одному монашескому ордену.

2. *Картезианцы* — монахи ордена, учрежденного в XI в. св. Бруно. Монастыри этого ордена отличались строгостью жизни.

К главе LXI.

1. *Раллузия* — иначе Немезида, богиня мщения. Эразм называет ее здесь вместо Фортуны — богини удачи.

2. *Сеян* — приближенный императора Тиверия, одно время всемогущий временщик, затем подвергшийся опале и казненный.

3. Римский консул Сервилий Цепион обогатился, разграбив храмы в Тулузе, но затем был обвинен в должностных преступлениях и кончил жизнь в изгнании жалким бедняком. Поэтому пословица о *Тулузском золоте* говорит о непостоянстве счастья.

К главе LXII.

1. *Поросенок из Эпикурова стада* — так сам себя именует Гораций в IV Послании первой книги.

2. Он же, четвертая кн. од, XII, 27.

3. Он же, вторая кн. Посланий, II, 126.

К главе LXIII.

1. *Сорбонна* — см. примечание 1 к гл. XLIII.
2. Этого стиха не имеется в русском переводе книги «Екклезиаст или проповедник».
3. *Книга пророка Иеремии*, X, 14.
4. *Там же*, IX, 23.
5. *Екклезиаст*, I, 2.
6. *Там же*, XXVII, 12.
7. *Евангелие от Матфея*, XIX, 17.
8. *Книга притчей Соломоновых*, XV, 21.
9. *Екклезиаст*, I, 18.
10. *Там же*, VII, 5.
11. *Там же*, I, 17.
12. Здесь Глупость попросту издевается над слушателями со своими цитатами; в книге *Екклезиаст* всего двенадцать глав.
13. *Екклезиаст*, X, 3.
14. *Книга притчей Соломоновых*, XXX, 2.
15. *Второе послание к Коринфянам*, XI, 23.
16. Здесь намек на *Николая из Лирь*, профессора богословия в Париже и францисканского монаха, умершего в 1340 г.

К главе LXIV.

1. *Св. Иероним* назван *пятиязычным*, потому что знал языки — латинский, греческий, древне-еврейский, халдейский и свой родной даматинский.
2. *Деяния Апостолов*, XVII, 23.
3. *Евангелие от Луки*, XXIII, 35 и 36.
4. *Балисты* — древние метательные орудия для бросания огромных камней, были неким подобием современной тяжелой артиллерии в греко-римскую эпоху.
5. *Книга пророка Аввакума*, III, 7. В русском переводе сказано просто: «Сотряслись палатки земли Маднамской».
6. *Послание к Титу*, III, 10.
7. *Второзаконие*, XIII, 5. В русском переводе: «А пророка того или сновидца того должно предать смерти».

К главе LXV.

1. *Хрисипп* (о нем см. выше примеч. 13 к гл. LIII) написал свыше 700 книг. *Дидим* — александрийский грам-

матик I в. до нашей эры, оставил по преданию свыше 4000 сочинений.

2. В подлиннике *συκίνη Θεολόγω*, «богослову смоковничному».

3. Второе послание к Коринфянам, XI, 19.

4. Там же, XVI, 17.

5. Первое послание к Коринфянам, IV, 10.

6. Там же, III, 18.

7. Евангелие от Луки, XXIV, 25.

8. Первое послание к Коринфянам, I, 25.

9. Ориген Александрийский (185—254) — крупнейший богословский авторитет первых веков христианства, хотя некоторые его мнения признаны впоследствии еретическими. Он одним из первых сделал попытку соединить христианское учение с Платоновой философией.

10. Первое послание к Коринфянам, I, 18.

11. Псалом LXVIII, 6.

12. Антоний — сподвижник Юлия Цезаря, составивший после его смерти так наз. второй триумvirат вместе с Октавием и Лепидом. Он отличался веселым, распутным нравом и был большим любителем чувственных наслаждений.

13. Первое послание к Коринфянам, I, 27.

14. Там же, ст. 21.

15. Первое послание к Коринфянам, I, 19, где Павел цитирует пророка Исаию, XXIX, 14,

16. Евангелие от Иоанна, I, 29 и 36.

17. Книга чисел, XII, 11.

18. Первая книга Царств, XXIV, 21.

19. Вторая книга Царств, XXIV, 10.

20. Евангелие от Луки, XXIII, 34.

21. Первое послание к Тимофею, I, 13.

22. Псалом XXIV, 7.

К главе LXVI.

1. Деяния апостолов, XXVI, 24.

К главе LXVII.

1. Первое послание к Коринфянам, II, 9, где апостол Павел цитирует пророка Исаию, LXIV, 4.

О Г Л А В Л Е Н И Е.

	Стр.
Предисловие <i>Ш. Т. Смита</i>	7
От переводчика	21
П О Х В А Л Ь Н О Е С Л О В О Г Л У П О С Т И.	
Обращение Эразма к Томасу Мору	43
Глава I. Глупость одним своим видом разгоняет заботы слушателей	47
Глава II. Содержание речи	48
Глава III. Почему она сама себя хвалит	49
Глава IV. Почему говорит без подготовки	50
Глава V. Глупость немедленно сама себя выдает	51
Глава VI. Подражание риторам	52
Глава VII и VIII. Родословная Глупости, место ее рождения, ее кормилицы	53
Глава IX. Спутники Глупости	55
Глава X, XI, XII. Глупости люди обязаны и самой жизнью, и всеми житейскими благами	56
Глава XIII. Родство Глупости с ребячеством и старостью	59
Глава XIV. Глупость удерживает юность и отгоняет старость	62
Глава XV. Боги особенно нуждаются в Глупости	64
Глава XVI. Приправа Глупости нужна повсюду	67
Глава XVII. Благодаря Глупости женщины нравятся мужчинам	68
Глава XVIII. Глупость — лучшая приправа попойки	70
Глава XIX. Она же соединительница друзей	71
Глава XX. Примирительница супругов	73
Глава XXI. Связь всякого человеческого общества	74

	СТР.
Глава XXII. Почему Филавтия именуется родной сестрой Глупости	—
Глава XXIII. Глупость — причина войн	76
Глава XXIV, XXV. Невыгоды Мудрости	77
Глава XXVI. Сила всякого вздора в народе	81
Глава XXVII. Жизнь человеческая — только забава Глупости	82
Глава XXVIII. Жажде суетной славы люди обязаны науками и искусствами	83
Глава XXIX. Глупость требует, чтобы ее похвалили за рассудительность	—
Глава XXX. Глупость ведет к мудрости	87
Глава XXXI. Только благодаря Глупости жизнь бывает сносной	89
Глава XXXII, XXXIII. Науки изобретены на пагубу роду людскому; среди них особенно ценятся те, которые связаны с Глупостью	93
Глава XXXIV. Из животных всего счастливее те, которые не знают никакой дрессировки	97
Глава XXXV, XXXVI, XXXVII. Дураки, юродивые, глупцы и слабоумные гораздо счастливее мудрецов	98
Глава XXXVIII. Почему следует предпочитать безумие	103
Глава XXXIX. Безумие супругов, охотников, строителей и игроков	106
Глава XLI. Суеверы	109
Глава XLII. Люди, тщеславящиеся благородством своего происхождения	114
Глава XLIII. Филавтия отдельных смертных, народов и городов	116
Глава XLIV. Сестра Филавтии — Лесть	118
Глава XLV. Счастье зависит от нашего мнения о вещах	119
Глава XLVI. Глупость на всех смертных равно изливает свои благодеяния	122
Глава XLVII. Снисходительность Глупости	123
Глава XLVIII. Различные виды и формы Глупости	125
Глава XLIX. Грамматика	129

	СТР.
Глава L. Поэты	132
Глава LI. Правоведы	135
Глава LII. Философы	136
Глава LIII. Богословы	138
Глава LIV. Иноки и монахи	149
Глава LV, LVI. Короли и придворные вельможи	160
Глава LVII. Епископы	164
Глава LVIII. Кардиналы	166
Глава LVX. Верховные первосвященники	167
Глава LX. Германские епископы	172
Глава LXI. Фортуна благоприятствует глупости	175
Глава LXII. Свидетельство древних	178
Глава LXIII. Свидетельство Священного писания	179
Глава LXIV и LXV. Лукавые толкователи слов Священного писания	186
Глава LXVI. Христианская вера сродни Глу- пости	199
Глава LXVII. Высшей наградой для людей яв- ляется некий вид безумия	206
Глава LXVIII. Эпизод	209
Примечания	211